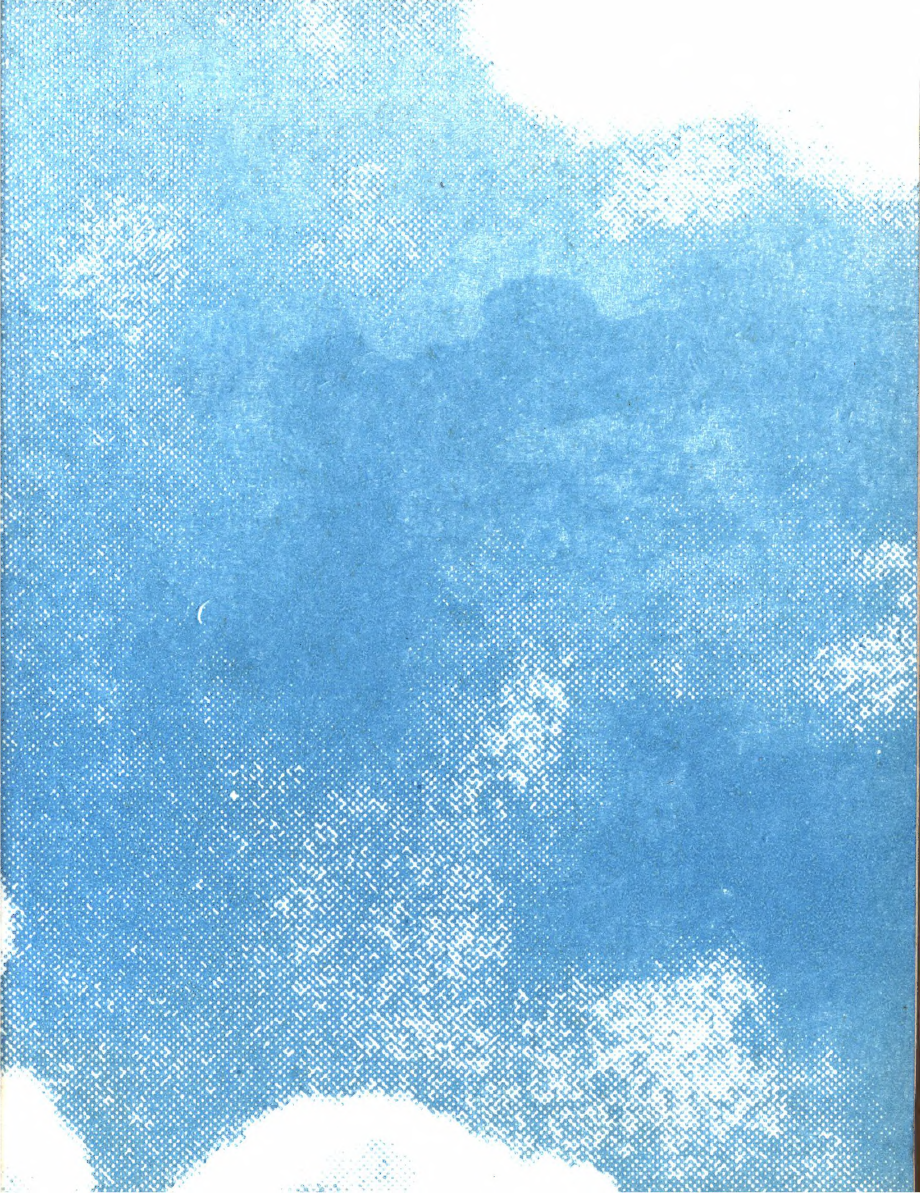
Николай Равич

ВЕЧНЫЙ СВЕТ



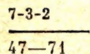


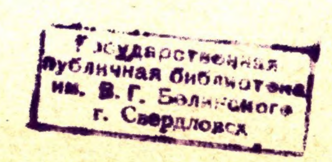


Большинство очерков, вошедших в книгу писателя Николая Александровича Равича «Вечный свет», посвящены политическим деятелям, соратникам В. И. Ленина — Ф. Э. Дзержинскому, А. М. Коллонтай, А. В. Луначарскому, Г. В. Чичерину, В. В. Куйбышеву.

Через десятки лет после встреч с этими замечательными людьми писателю удалось создать их живые запоминающиеся образы, воспроизвести на страницах книги несгибаемость и силу духа революционеров — борцов за народное счастье, творцов нового мира.

Заключают книгу очерки о выдающихся советских писателях М. Е. Кольцове и А. Н. Толстом.


7-3-2
47—71



Николай Равич

ВЕЧНЫЙ СВЕТ

ПОРТРЕТЫ

■



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1971

ОТ АВТОРА

Вечный свет... Lux aeterna... *Вечный свет ленинских идей. Он распространялся не только на ближайших соратников Ленина и на нас — поколение юношей, вступивших в революцию, но и на огромную массу беспартийных — ученых, писателей, инженеров, техников, на весь наш народ и на все народы мира, возвещая им наступление новой эры — эры социализма.*

В этой книге рассказывается о людях, с которыми мне пришлось встречаться, о разных людях, захваченных великой силой этих идей: основоположниках нашего государства, военачальниках и писателях. Их уже нет в живых, но они всегда с нами, потому что свет ленинских идей сияет вечно, устремляясь в будущее, имя которому — коммунизм.





РЕВОЛЮЦИОНЕР ДОЛЖЕН МЕЧТАТЬ

Это было вскоре после переезда Советского правительства из Петрограда в Москву, в начале апреля 1918 года. Мы с Делафаром сидели в комнате одного из богатых московских особняков. Делафар читал мне свои стихи. Комната была заставлена старинной мебелью красного дерева, на стенах висели картины — прежний хозяин считался известным коллекционером. На столе работы мастеров павловского времени стояли две солдатские алюминиевые кружки и большой жестяной чайник. Взамен сахара на бумажке лежало несколько слипшихся леденцов.

Изразцовые печи с синим затейливым рисунком почти не давали тепла. «Для того, чтобы прожить долго,— говорится в одной старинной книге,— нужно жить в деревянном доме и кафельные печи топить березовыми дровами. Тогда теплый воздух будет бодрящим и освежающим». Не только березовых, но и сосновых дров не было, топили чем попало.

Делафар был молодым человеком с пушистыми светлыми волосами, правильными чертами лица и горящими глазами. Улыбался он или сердился, читал стихи или допрашивал арестованных, его голубые глаза всегда горели. Он мог часами говорить о Марате и Робеспьере, прекрасно знал историю французской революции, восторгался якобинцами, верил в то, что капиталистический мир погибнет в самое ближайшее время, и считал, что систематическое уничтожение контрреволюционных элементов является таким же необходимым гигиеническим мероприятием, как, скажем, чистка зубов. Делафар был чекистом-поэтом, чекистом по убеждению и призванию. Сам он происходил из аристократической французской семьи (предки его бежали во времена французской революции в Россию). Теперь правнук бежавшего маркиза являлся участником величайшей из революций. Такова была диалектика истории.

Позднее, в 1919 году, Делафар был послан на подпольную работу в Одессу, оккупированную французскими войсками. Оккупанты долго не могли его выследить. Однажды они напали на его след, окружили, но ему удалось уйти. Это было ночью. Делафар отстреливался и исчез. В другой раз в новой перестрелке он был ранен и схвачен. Его судил французский военный суд. На суде Делафар произнес на блестящем французском языке гневную речь, в которой клеймил оккупантов. Делафара расстреляли на барже. Он отказался от повязки, скрестил руки на груди и воскликнул: «Да здравствует мировая революция!»

Впоследствии А. Н. Толстой в романе «Ибикус» описал трагическую гибель этого удивительного больше-

вика, одного из многих замечательных героев первых лет революции.

В тот апрельский день, когда Делафар читал мне стихи, и он и я, как и многие молодые люди нашего поколения, полагали, что мировая революция — дело совсем близкое и сравнительно несложное. Такое представление отражалось и в его стихах, где описывалось падение старого мира и будущее царство труда. В какой-то особенно патетический момент, когда Делафар, ударяя кулаком по столу, читал описание последнего решительного боя, в комнату вошел высокий, худощавый человек лет сорока с бородкой и усами. Он придерживал накинутую на плечи солдатскую шинель, выражение его продолговатых серых глаз было задумчивым. Человек постоял, послушал, потом сел на диван. Неожиданно он улыбнулся, лицо его подобрело, он осторожно взял кружки, подскакивавшие от ударов делафаровского кулака, и переставил их на подоконник. Делафар окончил читать, вынул из кожаной тужурки платок, отер лоб, повернулся к человеку, сидевшему на диване, потом ко мне.

— Ну как? — И, не ожидая ответа, прибавил: — Познакомьтесь, товарищи...

Человек в шинели приподнялся:

— Дзержинский.

Теперь с этим именем связана целая история героической жизни, оно неотъемлемо от истории нашей партии, нашего государства. Но тогда, в первые дни Октября, я знал лишь о том, что это был один из членов Военно-революционного комитета, известный в Польше и Литве социал-демократ. До февраля 1917 года он сидел в Бутырской тюрьме.

— Ну как? — снова спросил Делафар.

Я замялся. Стихи по форме были неплохие, но содержание их было наивно-утопическое.

Дзержинский посмотрел на меня, на Делафара и сказал со своей удивительно мягкой и застенчивой улыбкой:

— Революционер должен мечтать, но — конкретно, о вещах, которые из мечты превращаются в действительность. Все мы мечтали, что пролетариат захватит власть, эта мечта осуществилась. И все мы мечтаем о том, что, победив своих классовых врагов, мы создадим могучее социалистическое государство, которое откроет человечеству путь к коммунизму. Вот над осуществлением этой грандиозной задачи придется работать и нам и, вероятно, нашим детям. А стихи... По-моему, неплохие.

Делафар молча посмотрел на Дзержинского, на меня, покраснел, поставил алюминиевые кружки обратно на стол, достал еще одну, взял чайник и пошел за кипятком.

Дзержинский посмотрел ему вслед.

— Не обиделся? Ведь он в стихах выразил то, во что он верит, чем заполнена его душа...

Когда Делафар вернулся, разговор перешел на общие темы. Я сказал, что часть интеллигенции, честно желающая служить советской власти, обеспокоена все возрастающим бандитизмом в Москве, беспорядком в учреждениях, исчезновением продуктов и тем, что спекулянты продают их не на деньги, которые катастрофически теряют свою ценность, а в обмен на ценные вещи.

Дзержинский усмехнулся и посмотрел на меня.

— Удивляюсь вашей наивности. Идет классовая борьба не на жизнь, а на смерть. Буржуазия применяет самые подлые методы по отношению к рабочему классу и его правительству. Саботаж, уничтожение и утаивание продуктов, печатание фальшивых денег, организация бандитизма — вот с чем мы сталкиваемся. Помимо заговоров и шпионажа. По Москве бродят шайки анархистов, грабят, захватывают особняки, убивают. Кто они? Идейных анархистов там ничтожное количество. Основное — это уголовники и офицеры, которые ими руководят! Например, в Петрограде бандитами руководил князь Эболи. Но мы справимся со всем этим...

Он подтянул спадавшую с плеч шинель, сделал глоток из кружки и встал.

— Мне пора идти...

И уже в дверях, как бы на прощанье, сказал:

— Все честное, что есть в стране, перейдет к нам. Остальное — я говорю о наших врагах — или будет уничтожено, или рассеется, сойдет с исторической арены.

И вдруг Дзержинский улыбнулся. Его глаза как будто засветились, и худощавое, суровое лицо аскета стало необыкновенно добрым.

— Ничего, вы еще увидите, как расцветет наше социалистическое государство. А то, что происходит сейчас,— это неизбежные этапы борьбы рабочего класса за свое будущее.

Он ушел, и мы несколько минут просидели молча. Когда я собрался уходить, Делафар тоже поднялся.

— Я провожу вас немного,— сказал он.

Делафар взял лежавшую на подоконнике кобуру с револьвером и надел ее на ремень под кожаной курткой, снял фуражку с вешалки, и мы вышли на улицу.

Было уже темно. Стоял холодный, ясный апрельский вечер. По пустынным неубранным улицам ветер гнал мусор и обрывки бумаги. В переулке, выходящем со стороны Дмитровки в Каретный ряд, хлопнул выстрел, потом другой, послышались крики: «Стой!» — и топот бегущих людей. Потом все стихло. Мы продолжали идти. Полная луна освещала голые деревья Страстного бульвара, пустые аллеи и занятые влюбленными скамейки.

Делафар оглянулся, вдохнул полной грудью свежий вечерний воздух, в котором чувствовался весенний запах оттаявшей земли, и сказал:

— Хорошо! Надо пережить этот год, а там наступит революция в Европе, образуется союз социалистических стран и исчезнут все наши трудности...

Если бы мы оба могли знать, что через год он будет отправлен на подпольную работу и погибнет, что немного позже и я переживу тяжелые испытания в подполье и что через два года мне придется встретиться с Ф. Э. Дзержинским в совершенно других условиях.

Весной 1920 года я вернулся вместе с В. А. Ордынским (видным украинским работником) из польского подполья. В Смоленске мы расстались. Я получил назначение в Харьков, в штаб Юго-Западного фронта, на должность начальника секретно-информационного отдела при начальнике тыла фронта. Ордынский назначен был в Киев в военную прокуратуру.

По мере приближения к Харькову я чувствовал себя все хуже. Температура стремительно поднималась. На дорогах, а отчасти в армиях свирепствовал тогда сыпной тиф. И естественно, что по прибытии в Харьков

меня прямо из вагона отвезли в военный госпиталь. Но тифа не оказалось. Через несколько дней температура упала, и я, все еще чувствуя себя очень слабым, явился в штаб фронта по месту назначения. Однако госпитализация моя не осталась без последствий. Уже будучи на работе, я ознакомился с пространным некрологом, напечатанным «Югроста» 29 мая 1920 года по поводу моей смерти. «Югроста» проделала в связи с этим немалую работу — получила оценку моей деятельности в польском подполье от ЦК компартии Литвы и Белоруссии, характеристику из разных учреждений и припомнила, что я еще в прошлом году предугадал «происходящую ныне польскую кампанию».

Начальником тыла Юго-Западного фронта был Ф. Э. Дзержинский.

За два года, прошедшие со дня нашей первой встречи, Ф. Э. Дзержинский довольно заметно изменился — похудел, побледнел и частенько покашливал, чего раньше не было.

Первый доклад мой Дзержинскому длился около двух часов. Я подробно рассказал о сложившейся в Польше обстановке и о своих выводах.

За восемь месяцев пребывания в польском подполье, а затем в тюрьме и в лагере Дембью нам с В. А. Ордынским удалось собрать довольно обширный материал о состоянии буржуазно-помещичьей Польши и ее армии. Дзержинский меня почти не перебивал. Будучи одним из основателей (с Ю. Мархлевским и Розой Люксембург) Польской социал-демократической партии, Дзержинский, разумеется, лучше, чем кто бы то ни было, знал Польшу. Но со времени своего последнего ареста в сентябре 1912 года он уже там не был. Кроме того,

послевоенная Польша Пилсудского совсем не была похожа на русскую довоенную Польшу.

Я рассказал Феликсу Эдмундовичу, что мы долго не могли понять некоторые как бы противоречивые явления, характеризовавшие моральное состояние польской армии. Внешняя дисциплина соблюдалась даже излишне строго: солдаты вытягивались перед начальством, «печатали» шаг, орали во весь голос в ответ на заданный вопрос. Но те же солдаты на глазах у тех же офицеров пьянствовали, приставали к женщинам, дебоширили.

Составленная из самых разнообразных элементов, эта армия могла держаться лишь на разжигании низменных инстинктов, только при условии, что солдатам предоставлялась разгульная жизнь профессиональных разбойников. Мы натолкнулись на секретный приказ главного командования польских войск от 30 ноября 1919 года — приказ, в котором, между прочим, говорилось: «Робость здесь не к месту. Солдат должен быть сыт за всякую цену. Главное командование возьмет под свое покровительство каждого, кто в хороших намерениях даже отступит от предписаний, чтобы только дать солдату то, что ему хочется».

Пользуясь этим приказом, помещичьи сынки, составлявшие основные кадры польского офицерства, безнаказанно грабили население, поджигали города и села, устраивали погромы, расстреливали белорусских рабочих и крестьян.

Выслушав меня, Дзержинский встал из-за стола, прошелся по кабинету и тихо сказал:

— Да, они хотят всеми способами морально разложить польских солдат, привить им самые низменные

инстинкты, лишить их классового сознания... Ну, а теперь расскажите все, что вам известно о работе польских коммунистов.

И я доложил ему все, что знал. За восемь месяцев, проведенных в Польше, мы встречали среди польских коммунистов подлинных героев. Среди них было немало и офицеров и солдат. Многие польские коммунисты были расстреляны, тысячи сидели в тюрьмах и лагерях, другие продолжали борьбу. Дзержинский молча слушал меня. По его лицу я видел, как он взволнован описанием ужасных условий, в которых содержались коммунисты в тюрьмах Минска, Варшавы и лагеря Дембью.

Здоровье мое сильно пошатнулось после заключения в тюрьме и неудачного побега из лагеря. Работа в штабе была напряженной и кончалась поздно ночью. Поэтому меня поместили в санаторий на Рымарской улице. Там же некоторое время находился и Дзержинский. В половине девятого утра мы обычно выходили и пешком шли в штаб. Машина шла позади. Если Дзержинский уставал, мы садились в нее.

Это была единственная прогулка Дзержинского за день. Спал он мало, ел нерегулярно. Трудно представить себе, какую рабочую нагрузку он выдерживал. Помимо того, что Ф. Э. Дзержинский был начальником тыла Юго-Западного фронта (представлявшего в период махновщины самостоятельный внутренний фронт), он был еще председателем ВЧК, народным комиссаром внутренних дел и членом Реввоенсовета Юго-Западного фронта.

Кто мог сказать, сколько еще времени организм Дзержинского мог бы выдержать такое напряжение?

Это вызывало беспокойство Центрального Комитета партии. Но на фронте происходили решающие бои, и всякое упоминание о необходимости отдыха приводило Феликса Эдмундовича в страшное раздражение. «Кто вам наврал о состоянии моего здоровья и перегрузке работой?» — запрашивал он Центральный Комитет 9 июня 1920 года.

Помнится, однажды утром, когда мы шли на работу, вдруг начался сильный дождь. Дзержинский был без шинели, и я предложил ему сесть в машину и поднять верх.

Он посмотрел на меня подозрительным взглядом:

— А почему вы думаете, что я простужусь? Не мешало бы выяснить, кто это так беспокоится о моем якобы плохом состоянии здоровья.

Я ответил, что такое беспокойство вполне естественно, так как он ведет огромную работу, но уже больше никогда не заговаривал с ним на эту тему.

Обычно я докладывал Ф. Э. Дзержинскому один раз в день, вечером. Все сведения, поступавшие с внешних и внутренних фронтов, а также все другие важнейшие документы в самом кратком и точном изложении составляли сводку за день. Сводка эта объемом 25—30 страниц подписывалась начальником отдела, затем печаталась на восковке, размножалась на ротаторе и рассылалась с фельдъегерем адресатам по списку, утвержденному лично Дзержинским. Восковка сжигалась; экземпляры по прочтении возвращались к нам и тоже сжигались, за исключением одного, который подлежал особому хранению. Мой ежедневный доклад заключался в передаче сводки с дополнительной информацией по наиболее важным сообщениям.

Помню, как в самом начале моей работы в руки секретно-информационного отдела попал один документ, который в совершенно особом свете раскрывал личность видного национального украинского деятеля, введенного было в состав правительства. Я был настолько потрясен этим фактом, что в не положенное для доклада время пришел в кабинет к Феликсу Эдмундовичу и положил документ на стол.

К моему удивлению, он спокойно посмотрел на меня, выслушал и сказал:

— Вы слишком взволнованы, чтобы дать объективную оценку этому материалу. Проверьте все самым тщательным образом, обдумайте со всех сторон, какие последствия может иметь включение его в официальную сводку, и вечером приходите с докладом.

Феликс Эдмундович носил гимнастерку, подпоясанную широким ремнем, армейские брюки, сапоги, солдатскую шинель, фуражку. Все, однако, было хорошо подогнано. Он был во всем очень аккуратен. При огромной нагрузке день Дзержинского был точно распределен. Феликс Эдмундович говорил очень тихо, немногословно и обладал железной выдержкой. Какие бы ни поступали известия — хорошие или плохие,— лицо его было одинаково спокойно. Однако когда он выступал и тема его особенно волновала, то говорил быстрее, чем обычно, и польский акцент становился заметнее. Дзержинский начал жизнь революционера-подпольщика с семнадцати лет. Четверть своей жизни — одиннадцать лет — провел на каторге и в ссылках. Трижды бежал из ссылки. Сидел он в самых страшных царских тюрьмах — Орловском централе и Варшавской цитадели, где ежедневно вешали людей. В промежутках

между арестами, в подполье, жил в постоянном напряжении, следя за каждым своим словом и шагом, чтобы не провалиться.

Но и в тюрьме, и в ссылке ему также приходилось все время быть начеку — царское правительство всюду имело шпионов и провокаторов.

В одном из писем, относящихся к 1908 году (16 августа), Дзержинский, описывая ужасающую обстановку, царившую в Варшавской цитадели, говорил о том, что заключенные окружены шпионами и что это заставляет замыкаться в себе.

Так десятилетиями Дзержинский воспитывал в себе ту выдержку и силу характера, которая поражала окружающих. Нужно было не только не попадаться самому, нужно было научиться разоблачать шпионов и провокаторов, изучить методы охранки, чтобы вести с ней активную борьбу. Отсюда — громадный опыт Дзержинского в распознавании людей, опыт борьбы с классовыми врагами.

За все время работы с Феликсом Эдмундовичем я только два раза видел его в состоянии раздражения.

Как сказано выше, сводка печаталась на восковке и размножалась на ротаторе. Делалось это в специальной комнате, которая называлась «ротаторской». Вход в нее разрешался только немногим лицам. Работали там несколько человек: машинист, ротаторщик, корректор, переплетчик, экспедитор и специальный контролер, следивший за сжиганием восковок, уничтожением черновиков и за правильным запечатыванием пакетов. Машинист был молодой парень, комсомолец, печатавший на машинке всеми десятью пальцами с необыкновенной быстротой. За всю свою жизнь я

встретил только одну машинистку, печатавшую с такой же быстротой. Но он был очень недисциплинирован: рассказывал на работе анекдоты, иногда в разгар рабочего дня даже пускался в пляс.

Сколько я ему ни делал внушений, это не действовало. Не помогла и гауптвахта, на которой он просидел несколько часов. Но лишиться его было жалко — работник он был превосходный.

Работа штаба крупного войскового соединения может быть успешной только при наличии самого строгого распорядка. Если в здании штаба чистота, тишина, каждый сотрудник подтянут, точен и знает свои обязанности, это способствует успеху оперативной работы. Сейчас это общеизвестная истина, но во времена гражданской войны наладить штабную работу было не так-то просто.

Однажды, проходя по коридору, Дзержинский услышал за дверью с надписью «Вход воспрещен» притопывание и звуки губной гармоники. Он открыл дверь в «ротаторскую», посмотрел, молча повернулся и вышел. Вызвав меня, Феликс Эдмундович спросил:

— Что это за безобразие? Чем у вас занимаются в служебные часы?

Я доложил ему, что этот парень — прекрасный работник, но, к сожалению, плохо усваивает дисциплину.

Феликс Эдмундович посмотрел на меня задумчиво, погладил бородку.

— Гм... Пришлите его ко мне...

Я по сей день не знаю, что он сказал этому парню,

но с того дня дисциплина в нашем отделе не нарушалась, а машиниста можно было увидеть пляшущим только во внеслужебное время.

Дзержинский не терпел никакой грубости. Как я уже говорил, он никогда не повышал голоса, был очень вежлив и предупредителен по отношению к другим. Он с удивительной чуткостью относился к нуждам сотрудников и мало обращал внимания на себя.

Легко можно представить себе, что в период широкого польского наступления на Украину, одновременного наступления Врангеля, активизации махновщины, когда все контрреволюционные элементы зашевелились, стремясь взорвать фронт с тыла, работы было более чем достаточно.

Ф. Э. Дзержинский отправлялся на работу в половине девятого утра, а возвращался поздно ночью. Во всех подведомственных ему учреждениях время для работы было официально установлено от 11 часов утра до 10 часов вечера, с двухчасовым перерывом на обед. Если в установленное время работа не была выполнена, никто не имел права уходить.

Зная это, Ф. Э. Дзержинский сам проверял, как питаются сотрудники.

Однажды, заметив, что в снабжении имеются перебои, он издал специальный приказ, в котором говорилось: «Учитывая, что подобная напряженная работа сотрудников потребует исключительного напряжения сил и не может протекать в условиях хронического недоедания, предписываю начальнику снабжения принять срочные меры к удовлетворению сотрудников полным положенным фронтовым пайком, чтобы слу-

чаи недодачи пайка, в особенности мяса или рыбы, не имели бы места в будущем».

В апреле польские войска на всем фронте перешли в наступление. Остатки петлюровцев присоединились к белополякам. В своем обозе поляки везли Петлюру.

Начал наступательные операции Врангель. Зашевелились махновские банды.

Почти не существует никаких печатных материалов о Ф. Э. Дзержинском, как о военачальнике. Между тем именно в период с мая по июль 1920 года, когда он был начальником тыла Юго-Западного фронта, ему пришлось непосредственно руководить широкими маневренными операциями по ликвидации крупных бандитских шаек в тылу, в первую очередь против армии Махно.

Можно без всякого преувеличения сказать, что Дзержинский выработал ту технику борьбы с кулацко-белогвардейскими бандами, которая применялась и впоследствии, до окончания так называемой «малой гражданской войны».

Ф. Э. Дзержинский прекрасно изучил все наши ошибки в борьбе с бандитизмом на Украине в 1919 году.

В подробном приказе по войскам тыла он указывал на «несостоятельность принципа окружения бандитов небольшими силами» и требовал «прилагать все усилия к сосредоточенному действию, разбивая банду маневренными ударами, после чего применять ее окружение и уничтожение».

Категорически запрещалось удовлетворяться выключением банд из боя. Перед каждым командиром ставилась задача энергичного преследования про-

тивника с тем, чтобы в конечном счете он был уничтожен.

Разумеется, для такой войны — чисто маневренного характера и на больших пространствах — требовалась особая армия, обладающая большой подвижностью. Примерно к концу мая численность войск внутренней охраны тыла Юго-Западного фронта достигла 50 тысяч человек. В их составе было большое количество конницы, звено самолетов, бронеавтомобили. Наряду с маневренными группами в наиболее важных стратегических пунктах были созданы постоянные гарнизоны. Важнейшее значение придавалось охране железных дорог, телефонных и телеграфных линий, складов и наведению порядка на транспорте. Надо было обезопасить все станции от шпионов, диверсантов, мешочников и спекулянтов, установить точный график движения поездов, обеспечить быстрое продвижение военных эшелонов и составов с продовольствием.

Как я уже говорил, Феликс Эдмундович любил систему в работе и тщательную продуманность каждой операции. Он прекрасно понимал, что одних военных мероприятий мало; надо, чтобы на селе низовой аппарат советской власти работал честно, добросовестно и пользовался авторитетом у крестьян. Командирам отдельных подразделений ни в коем случае не разрешалось подменять собой местные административные органы. Поэтому в штабе тыла была создана специальная политическая секция. Она занималась печатной и устной агитацией на селе, организацией повседневной помощи местным органам советской власти и обязана была сообщать секретно-информационному отделу о всех злоупотреблениях на местах.

Даже изъятие оружия у населения проводилось крайне осторожно. В приказе от 27 июня 1920 года Ф. Э. Дзержинский указывал: «Обыски производить только в том случае, когда есть уверенность, что оружие будет найдено, а необдуманных и неорганизованных действий не допускать».

Ф. Э. Дзержинский воспитывал кадры чекистов в духе высокой партийности и строгого соблюдения советских законов. «Железный Феликс», будучи сам «рыцарем без страха и упрека», карал беспощадно каждого, кто пятнал репутацию чекиста, какое бы положение он ни занимал.

«Чекисты,— писал Дзержинский,— должны знать все декреты Советской власти и руководствоваться ими в своей работе. Это необходимо для того, чтобы избежать ошибок и самим не превратиться в преступников против Советской власти, интересы которой мы призваны блюсти».

Инструкция о производстве обысков и арестов, написанная Ф. Э. Дзержинским в марте 1918 года, начинается так: «Вторжение вооруженных людей на частную квартиру и лишение свободы повинных людей есть зло, к которому в настоящее время необходимо еще прибегать, чтобы восторжествовало добро и правда. Но всегда нужно помнить, что это зло, что наша задача, пользуясь злом,— искоренить необходимость прибегать к этому средству в будущем. А потому пусть все те, которым поручено произвести обыск, лишить человека свободы и держать его в тюрьме, относятся бережно к людям, арестуемым и обыскиваемым... помня, что лишенный свободы не может защищаться и что он в нашей власти. Каждый должен помнить,

что он представитель Советской власти рабочих и крестьян и что всякий его окрик, грубость, нескромность, невежливость — пятно, которое ложится на эту власть».

Феликс Эдмундович считал необходимым разоблачать клеветников, склочников, авторов анонимок, людей, занимающихся доносительством на честных граждан.

В одном из приказов он пишет о таких «доносителях»:

«Часто авторами подобных заявлений являются лица, не заслуживающие никакого доверия, а мотивами подачи заявлений — сведение личных счетов, желание дискредитировать того или иного сотрудника, а иногда и убрать его с дороги ради своей личной карьеры. Часто даже подписанные заявления являются анонимными или с подложными фамилиями, в таких случаях необходимо найти самих заявителей...

Необходимо оберегать честь и доброе имя ответственных партийных и советских работников... В случаях, когда возникает против кого-либо только подозрение, необходимо проверить его основательность с таким расчетом, чтобы сама проверка не запачкала имени работника».

Возвращаюсь, однако, к рассказу о работе Ф. Э. Дзержинского в те дни на Юго-Западном фронте.

Все контрреволюционные элементы на Украине активизировались. В Харькове на стенах домов появились антисоветские надписи.

Вскоре после приезда Ф. Э. Дзержинского в Харьков белопольская агентура организовала на него покушение. Обычно Феликс Эдмундович ходил и ездил

без всякой охраны. Изредка его сопровождал личный курьер и друг — Григорий Сорокин, по прозвищу «Голубок». Прозвали его так потому, что, являясь к кому-нибудь по поручению Феликса Эдмундовича, он начинал свое обращение фразой: «Вот что, голубок!..» Это был бородатый, приземистый человек необыкновенно добродушного вида.

В конце мая 1920 года, когда Дзержинский утром подъехал к зданию ВУЧК на Совнаркомовской улице и вышел из машины, к нему бросилась молодая женщина и, выхватив револьвер, начала целиться. Феликс Эдмундович, пристально глядя на нее, наклонил в сторону голову. У нее задрожала рука, и пуля проскочила мимо. В это время из подъезда выскочила охрана, и женщину обезоружили. Она оказалась членом белопольской подпольной организации. Дзержинский не только запретил говорить об этом покушении, но и принял все меры, чтобы слух о нем не дошел до сведения его жены — Софьи Сигизмундовны, так как очень боялся ее взволновать.

В связи с покушением было арестовано несколько польских агентов-диверсантов. Ввиду этого полевая чрезвычайная комиссия иногда проверяла документы у всех прохожих на улицах, одновременно в разных районах. Она произвела обыски во многих домах и изъяла значительное количество оружия. Был установлен определенный ночной час, после которого лица, не имеющие пропусков, задерживались и препровождались для проверки в ближайшие районные отделения милиции. Руководил этой работой прекрасный большевик, матрос Борис Поляков, впоследствии геройски погибший во время Отечественной войны.

Однажды меня вызвал Дзержинский и приказал ночью объехать все районы города и проверить, кого задерживают, как быстро отпускают тех, кто по действительной надобности должен был выйти ночью, не имея пропуска, а также установить, как относится население к этим мероприятиям.

Полякова я застал на Сумской улице, в отделении милиции. Во дворе здания толпилось много задержанных. Они заполняли также и все помещение. Сам Поляков, давно уже не спавший, с красными глазами и серым от усталости лицом, быстро пропускал задержанных, длинной очередью проходивших мимо стола, у которого он стоял. Каждому он задавал два-три вопроса: «Ваши документы? По какой надобности вышли ночью без пропуска?» Взглянув на документы и выслушав ответ, он по большей части отдавал распоряжение сидевшему рядом с ним делопроизводителю: «Выдайте пропуск, освободите!..»

Толпа быстро таяла, все шло нормально. Только двое мужчин явно офицерского типа и с сомнительными документами были задержаны для выяснения.

Наблюдая за всем этим, я считал, что работа поставлена правильно, за исключением разве того, что нечего было Полякову, и без того перегруженному множеством дел, самому проводить эту проверку. Это было часто встречавшееся тогда у руководителей стремление все делать самим, вместо того, чтобы распределить обязанности между подчиненными.

Неожиданно перед Поляковым оказался мужчина лет сорока, в шляпе и демисезонном пальто, в пенсне.

Поляков взглянул на него, поднял опухшие веки:

— Документ! Так... Вы, гражданин, где работаете?
— Я адвокат, занимаюсь частной практикой...
— По какой надобности вышли ночью из дому?
— Ходил в аптеку за лекарством для жены.
— Лекарство при вас?

Адвокат вынул порошки из кармана.

Поляков посмотрел время выдачи на рецепте.

— Так... Вы свободны! Выпишите гражданину пропуск. Следующий...

Но адвокат не уходил. Он подошел к Полякову ближе и, глядя на него бешеными от злобы глазами, закричал тонким голосом:

— Я протестую.

Поляков удивился:

— Против чего?

— Против насилия над личностью, против лишения свободы передвижения...

— Так...— Лицо у Полякова начало медленно краснеть.— А разве вы не знаете, что идет война?

— До революции война была побольше нынешней и ничего подобного не делали...

— Вы интеллигент, а не понимаете таких вещей, что теперь война классовая и враг способен на любые подлости. Вчера хотели взорвать электростанцию...

Человек в шляпе злобно передернулся, поправил пенсне и раздельно сказал:

— Я не желаю, чтобы такие хамы, как вы, распоряжались моей судьбой...

Поляков стал пунцовым, потом схватил господина в шляпе за отвороты пальто, встряхнул несколько раз, повернул спиной и вытолкнул:

— Убирайся к чертовой матери, контра!..

Подойдя ко мне и обтирая лицо платком, он, как бы оправдываясь, сказал:

— Замучили, проклятые... Хоть бы на фронт пустили...

На другой день я доложил Дзержинскому о том, что, объехав ночью районные отделения милиции, не заметил особых происшествий, однако считал бы более целесообразным проверку прохожих ночью проводить патрулями на улицах и только в сомнительных случаях приводить их в отделения милиции. К тому же меру эту, хотя она и необходима, нужно проводить осторожно и тактично, чтобы она не захватывала слишком широких слоев населения.

Феликс Эдмундович посмотрел на меня, взял какой-то листок со стола и пробежал его глазами.

— При вас Поляков избил задержанного для проверки адвоката?

— Никакого избиения не было...

— Послушайте! Вы на себе испытали, как обращаются с заключенными в тюрьмах и лагерях капиталистических стран. Можем ли мы допустить нечто подобное у себя? Нет! За рукоприкладство мы будем расстреливать...

— Разрешите доложить, что задержанный позволил себе оскорбить Полякова. Он произнес чуть ли не целую контрреволюционную речь. Поляков несколько дней не спал, и нервы у него были напряжены. Сначала он пытался адвокату доказать целесообразность наших действий. А потом не выдержал и вытолкал его из кабинета...

— Поляков обязан был сдержать себя! Я прикажу

его арестовать и отдать под суд! Мы должны быть по своей культуре, выдержке, честности неизмеримо выше своих врагов, иначе мы не победим... Идите!

Вечером, когда я закончил докладывать сводку, Дзержинский вдруг сказал:

— Расскажите-ка мне подробно и совершенно точно всю эту историю с Поляковым.

Я постарался с протокольной точностью воспроизвести вчерашнюю сцену.

Феликс Эдмундович провел рукой по бородке и сказал задумчиво:

— Да, переубедить такого желчного интеллигента, который ничего не видит дальше своего носа, конечно, трудно...

Кончилось тем, что Дзержинский приказал освободить Полякова, но долго не мог простить ему эту историю.

Май 1920 года был очень тяжелым. Белополяки заняли Киев. Страна под руководством В. И. Ленина напрягала все силы для того, чтобы нанести врагу ответный сокрушительный удар.

Стояли прекрасные солнечные дни, какие бывают только на Украине во второй половине мая. Тогда мало занимались украшением городов, но все-таки в скверах и на некоторых площадях пестрели клумбы с цветами.

В одно такое радостное, полное света утро, направляясь к штабу, мы проходили через сквер. Вдруг Дзержинский остановился:

— Как пахнут цветы! Наверное, сейчас хорошо в лесу, слышатся птичьи голоса, а сквозь деревья видны

облака, плывущие по небу... Воздух чист, и легко дышать...

Он прошел несколько шагов и прибавил:

— Как мало людей, которые могут пользоваться тем, что дает им природа...

И я почувствовал, что этот замкнутый и сдержанный человек любит природу, цветы, детей с такой силой, на какую способны только люди, которых многолетнее пребывание в тюрьме лишало всех радостей жизни. Но и теперь, когда осуществилось то, ради чего Дзержинский боролся столько лет, и пролетариат пришел к власти, он, как и прежде, отдавал себя полностью работе, сокращая время для еды и сна. Нужно было иметь железную волю, чтобы изо дня в день выдерживать такую нагрузку. При этом основная черта «железного Феликса» заключалась в том, что каждое дело, которым он занимался, большое или маленькое, он изучал с величайшей тщательностью. Он не прощал ошибок, считая, что они могут быть результатом только небрежности или верхоглядства. Я помню, как, прочитав доклад одного военного специалиста, Дзержинский сказал с выражением недоумения и презрения в голосе:

— Он — лентяй! Он недобросовестно работает! Царская администрация приучала свои кадры не только к продажности, но и к разгильдяйству.

Почти год Дзержинский изучал экономические и политические корни махновщины и положение в украинской деревне. Несомненно, что его доклады были важной частью тех многочисленных материалов, которые привели В. И. Ленина к мысли о необходимости перехода от продразверстки к продналогу.

Впоследствии начальник штаба махновской армии В. Белаш показал: «В июне 1921 года крестьянство осознало новую экономическую политику и в большинстве своем отвернулось от Махно и стало на сторону Советской власти...»

В июле 1920 года Красная Армия подошла к Львову и Варшаве, в октябре было подписано соглашение о перемирии, в ноябре советские войска покончили с Врангелем.

В конце ноября я был направлен в Среднюю Азию, потом на дипломатическую работу в Афганистан, а потом в Турцию. Вернувшись в 1926 году в Москву, я узнал, что 20 июня 1926 года Дзержинский умер от паралича сердца после пламенной речи на Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), направленной против троцкистско-зиновьевской оппозиции.

Восстанавливая в памяти облик этого великого революционера, самоотверженного, кристально чистого, честного и предельно скромного, я невольно вспомнил еще о некоторых особенностях его характера.

Все мы любим детей, но Дзержинский любил их, если можно так выразиться, «конкретно»: он интересовался судьбой каждого ребенка, условиями его жизни и всегда находил возможность как-то ему помочь.

Софья Сигизмундовна Дзержинская вспоминает, что в 1910—1912 годах, когда Феликс Эдмундович жил в Кракове и руководил подпольными партийными организациями в русской Польше и Литве, в маленькой двухкомнатной квартире Дзержинских на улице Коллонтая всегда полно было детей. Однажды, придя утром, она увидела, что Дзержинский работает, сидя за

письменным столом. Забравшись к нему на колени, один малыш старательно рисовал, а другой, вскарабкавшись сзади на стул и обняв Дзержинского за шею, смотрел, как он пишет. Феликс Эдмундович уверял, что дети ему нисколько не мешают.

К началу 1921 года в результате империалистической и гражданской войн в нашей стране было около четырех миллионов беспризорных детей. Москва (как, впрочем, и другие города) была ими забита. Они ютились в котлах, где варили асфальт, в подворотнях, на бульварах, в разрушенных зданиях, на пустырях. Грязные, оборванные, худые, потерявшие человеческий облик, днем они скрывались, а ночью нападали на одиноких прохожих. Хватали у женщин сумки, воровали, копались в мусорных ящиках. Это было нашествие, с которым, казалось, нельзя было справиться: ни милиция, ни поездные бригады не знали, что делать.

К тому же не хватало приютов и интернатов, где беспризорных можно было бы содержать, а крайне ограниченные средства Наркомпроса не давали возможности содержать и обучать эту гигантскую армию нищих подростков.

В один из январских морозных дней Феликс Эдмундович приехал к Анатолию Васильевичу Луначарскому и сказал:

— Когда смотришь на детей, так не можешь не думать — все для них! Плоды революции — не нам, а им! А между тем сколько их искалечено борьбой и нуждой. Тут надо прямо-таки броситься на помощь, как если бы мы видели утопающих. Нужно создать при ВЦИК широкую комиссию, куда вошли бы все ведомства и организации, могущие быть полезными в этом

деле. Я хочу реально включить в работу аппарат ВЧК — ведь наш аппарат один из наиболее четко работающих.

27 января 1921 года Президиум ВЦИК утвердил Ф. Э. Дзержинского председателем Комиссии по улучшению жизни детей. Прошло несколько лет, и из трудовых колоний и коммун стали выходить замечательные молодые люди, прославившие себя на ударных стройках в период индустриализации страны.

Через десять лет после смерти Ф. Э. Дзержинского — в 1936 году — отмечалось пятнадцатилетие со дня создания Комиссии по оказанию помощи детям при ВЦИК. К Михаилу Ивановичу Калинину были приглашены некоторые бывшие беспризорники. (ВЧК вела своеобразный учет детей, воспитывавшихся в коммунах, и следила за их дальнейшей судьбой.) В их числе оказались — летчики, слушатели военных академий, профессора, инженеры, врачи.

Другой особенностью Ф. Э. Дзержинского являлось чисто ленинское умение заботиться о других и оказывать им помощь таким образом, чтобы они не знали, от кого она исходит.

Летом 1924 года Надежда Константиновна Крупская и Мария Ильинична Ульянова перенесли тяжелое нервное заболевание. Их направили в Кисловодск на лечение. Ф. Э. Дзержинский заранее сделал все, чтобы их встретили и хорошо устроили, и очень был озабочен тем, как уговорить Надежду Константиновну и Марию Ильиничну подольше пробыть в санатории и основательно подлечиться.

Много лет спустя после его смерти мне пришлось побывать в селе Тасееве, расположенном на тракте в

150 километрах от Канска. Это — старинное сибирское село, которое очень разрослось за годы советской власти. Когда-то по этому тракту шли на каторгу партии политических. В деревне Хандалы, что в пятнадцати километрах не доходя Тасеева, партия останавливалась. Снимали кандалы, и каторжане, раскованные, шли дальше, через Тасеево, в село Троицкое — на соляные копи.

В самом Тасееве селили ссыльных. Теперь, если въехать в это село по Буденновской улице, которая тянется километра два, то доедешь до почты, а от нее сворачивает налево в гору Дзержинская улица. На углу стоит деревянный старенький дом, к стене которого прибита мемориальная доска. Сюда, приговоренный к вечному поселению в Сибири, в 1909 году был доставлен Ф. Э. Дзержинский. Через семь дней после прибытия он бежал. Это был его третий побег. Дикая тайга и сейчас окружает село; осень делает дороги непроходимыми. В те годы даже самые лучшие ямщики в осенние месяцы не решались выезжать в город. Нужно было иметь душу орла, чтобы из этой глуши решиться бежать за тысячи километров, в другую часть света, и снова продолжать борьбу, зная, что тебе опять грозит ссылка или тюрьма.

К тому же побег осложнило неожиданное обстоятельство. Один из политических ссыльных, защищая свою жизнь, убил напавшего на него бандита. Он скрывался у товарищей, но его разыскивала полиция, и ему угрожала смертная казнь. Узнав об этом, Феликс Эдмундович отдал скрывавшемуся свой заготовленный заранее паспорт и часть денег. А сам бежал без всяких документов.

Впоследствии, рассказывая об этом побеге, Феликс Эдмундович говорил, что тогда не думал об опасности. Это было самое трудное время для партии — период реакции, и его долгом было как можно скорее снова включиться в революционную борьбу.

И этот революционный порыв, несгибаемую волю и готовность жертвовать собой ради дела коммунизма Дзержинский сохранил до конца жизни. Он умер, защищая то, что ему было дороже всего,— чистоту ленинского учения.



НАСТУПИТ ВРЕМЯ, КОГДА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА СТАНЕТ ПРЕКРАСНОЙ

Весной 1919 года в Киеве почти все ответственные советские работники жили в гостинице «Континенталь». Там долго продолжал работать открытый для всех ресторан со знаменитым румынским оркестром под управлением Жана Гулеско и Корнелия Кодолбана. Однако для большинства наших товарищей, даже наркомов, ресторан был недоступен по своим ценам, и они питались в столовой. Александра Михайловна Коллонтай, приехав на Украину, тоже поселилась в «Континентале». И по характеру своей работы и потому, что наши номера были неподалеку один от другого, мне приходилось часто с ней встречаться.

Это была красивая, умная, образованная и прекрасно воспитанная женщина.

Что такое хорошее воспитание? Скромность, простота в обращении, уважение к людям... За редким исключением, эти черты были свойственны всем старым большевикам.

Но, кроме этого, Коллонтай никогда не теряла того женского обаяния, которое было присуще ей не меньше, чем Ларисе Рейснер или Инессе Арманд. Она выглядела необыкновенно молодо для своих лет. У меня есть ее фотография, снятая в Англии в 1913 году. Пушистые, вьющиеся волосы, большие серые глаза и над ними брови дугой, удивительный овал лица, ямочки на щеках, стройная фигура. Словом, это снимок двадцатилетней девушки. А в 1913 году ей было уже за сорок.

В эмиграции — в Германии, Франции, Англии, Швейцарии, Бельгии, Италии, Швеции, Дании, Норвегии и США — Коллонтай работала в качестве агитатора и писателя. Разговаривать с нею для меня, молодого человека, являлось истинным наслаждением, ибо читать и учиться во время гражданской войны было некогда. Общение со старыми большевиками было учебой для моего поколения. Кроме блестящей эрудиции, меня восхищала в Коллонтай ярко выраженная смелость характера. Недаром она в кровавое воскресенье 1905 года вместе с демонстрантами шла к Зимнему дворцу. В 1919 году она неоднократно выезжала на фронт, выступая перед бойцами.

Однажды, зайдя к ней в номер, я увидел плотного, красивого моряка с бородой и усами. Это был Павел Ефимович Дыбенко. Он родился в украинской семье на Черниговщине. Его родители были так бедны, что ему с трудом удалось при содействии социал-демократки Давидович окончить трехклассное училище. Семнадцатилетним юношей он уехал в Ригу, работал там грузчиком, потом электротехником. В 1910 году Дыбенко был призван матросом в Балтийский флот. В 1912 году он вступил в партию большевиков.

После Февральской революции был избран председателем Центробалта, участвовал в июльской демонстрации, был за это арестован и просидел в тюрьме до сентября 1917 года. Дыбенко — активный участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, командовал войсками под Гатчиной и Красным Селом, где арестовал Краснова. Он был избран первым народным комиссаром по морским делам и пробыл им до апреля 1918 года. Но ему не удалось защитить Нарву, которая была сдана немцам. После пребывания в подполье на Украине он прибыл в нейтральную зону около города Рыльска [1]. Там он был сначала военкомом полка, потом командиром батальона, а после взятия Харькова командовал группой войск Екатеринославского направления, которая освободила Крым. Так он стал командующим Крымской армией.

Павел Ефимович Дыбенко являлся как бы олицетворением того типа моряков, которые сыграли такую большую роль и в Октябрьские дни, и в решающих боях на всех фронтах гражданской войны. Это было естественно. В матросы брали квалифицированных рабочих, ибо морская служба связана с освоением техники. Вместе с тем туда отбирали наиболее выносливых, физически сильных людей. Революционные настроения моряков, так ярко выявившиеся в 1905 году, превратились за годы реакции в такой загнанный вглубь «горючий материал», который после февраля 1917 года служил до конца делу революции. Если на многочисленных фронтах в белых армиях были не только офицеры,

---

[1] По Брест-Литовскому миру была определена «нейтральная» полоса между РСФСР и гетманской Украиной.

но и солдаты, то «белых матросов» почти не существовало. Конечно, и у Врангеля, и у Деникина, и у Колчака были корабли, но обслуживались они офицерами, мичманами, гардемаринами и лишь незначительным числом матросов, подготовленных зачастую даже из унтер-офицерского состава пехотных частей.

Не знаю, кому из советских писателей можно приписать честь открытия «братишки-матроса» с клешами, с переваливающейся походкой и блатным жаргоном. Этот «братишка» столь часто преподносится в качестве обязательного персонажа в историко-революционных пьесах, рассказах и романах.

Матросы, которых я встречал в период гражданской войны, за редким исключением, были людьми выдержанными, политически грамотными и беззаветно преданными Коммунистической партии. Надо, конечно, оговориться, что в анархистских и партизанских отрядах попадались типы, «работавшие под матросов», то есть носившие матросскую форму и выдававшие себя за моряков. Но их разоблачали очень быстро.

Возвращаясь к Павлу Ефимовичу Дыбенко, нужно сказать, что он был человеком жизнерадостным и полным энергии. Дыбенко очень хотелось учиться, и, несмотря на то, что его беспрерывно отрывали на фронты, ему все-таки удалось окончить Военную академию.

В 1919 году Дыбенко было тридцать лет. Он находился в расцвете сил.

Когда я вошел, Дыбенко и Коллонтай оживленно разговаривали, сидя около открытого окна. Я хотел уйти. Мне казалось, что я пришел не вовремя. Но Александра Михайловна меня задержала. Дыбенко рассказывал о крымских делах, о ставленнике немцев гене-

рале Сулькевиче и бежавшем кадетском правительстве.

— Все дело в том,— говорил он,— что тамошние татары — совсем не то, что волжские. Крымские татары — это проводники, владельцы дач, словом, люди, которые наживались на буржуазии, приезжавшей в Крым. Конечно, среди них есть и трудящиеся, но они в лапах у богачей. Среди крымских татар очень сильны буржуазные националистические тенденции и религиозные предрассудки. Во время немецкой оккупации в тысяча девятьсот восемнадцатом году турецкие агенты вели там бешеную антисоветскую агитацию.

— Ну, а с армией у вас как? — спросил я.

— Плохо. У меня много махновцев и григорьевцев. Эти привыкли к атаманщине. А нужно создать стойкие регулярные части. Приходится заменять, тасовать людей. Сейчас стараюсь укрепить полки рабочими и коммунистами. Но их не хватает. Всюду нужны люди — в советский и партийный аппарат, на производство, для того чтобы сохранить винодельческие хозяйства и дворцовое имущество. А тут еще Семашко: требует превратить Крым в народную здравницу. Лучшие здания — отдай ему, продовольствием обеспечь, дворцы охраняй... Я попробовал огрызнуться, да от Владимира Ильича влетело...

Александра Михайловна засмеялась:

— И правильно влетело. Крым принадлежит всем трудящимся...

Дыбенко почесал голову.

— Оно верно. Но только сначала отвоеваться надо. Я приказал начальнику санитарного управления ликвидировать в кратчайший срок вшивость, наладить са-

нитарную обработку. А тут телеграмма: «Организовать физиотерапевтический институт» и «бальнеологическую клинику»... Да у меня же под боком Григорьев!..

— А почему вас Григорьев беспокоит?

Дыбенко повернулся ко мне:

— Неужели вы не понимаете, что рано или поздно нам придется с ним конфликтовать? Он и сейчас считает себя «атаманом Херсонщины и Таврии», а мечтает быть «атаманом всей Украины». Григорьев сидит в Александрии и вовсе не собирается вести свои части на румынский фронт. Наши ему нарисовали чудесную картину: ежели прорвется он через Буковину в Венгрию и спасет венгерскую революцию, то станет героем в глазах мирового пролетариата. А что ему мировой пролетариат! Ему свои «дядьки» нужны, «дядькам» — хата, хороший участок земли, десяток коров и коней да гроши за пазухой...

Вдруг дверь открылась, и громкий голос произнес:

— Это у кого гроши за пазухой?

Борис Поляков, матрос и тогдашний начальник милиции Киева, приятель Дыбенко, высокий, широкоплечий, с открытым, прекрасным, мужественным лицом. Когда он шел по улице, на него невольно оглядывались и женщины, и мужчины. Одевался он с той флотской элегантностью, которая являлась традицией кадровых моряков. Человек могучего телосложения и большой физической силы, Поляков был застенчив. Он не пил, не курил, жил в небольшой квартире, где жена его вела скромное хозяйство.

Поляков был человеком твердым, но доброжелательным и умел поддерживать порядок в городе, не раздражая население мелкими придирками.

Как-то я зашел к Полякову, когда ему только что сообщили об очередном скандале со стрельбой в базарный день на Подоле. Мы поехали туда вместе. Это было еще до восстания, позже поднятого переодетыми петлюровцами на Куреневке.

Когда мы прибыли на место, толпа бурлила и шумела вокруг дюжины кавалеристов, одетых как попало. Размахивая нагайками и даже саблями, они отнимали у людей и складывали в кучу разные вещи. Поляков ездил в экипаже, запряженном парой лошадей. Встав на подножку и мгновенно оценив обстановку, он велел сопровождавшему его взводу оцепить эту часть базара, а сам пошел к толпе, которая раздалась перед ним. Так он дошел до грабителей. Один из них, видимо предводитель, в жупане, в кубанке с красным верхом, положил руку на эфес шашки и крикнул:

— Тебе што надо?

Поляков усмехнулся.

— Брось шутить! — и слегка взмахнул рукой.

Здоровенный мужчина полетел, как сброшенный с воза мешок.

Через несколько минут бандитов увели под конвоем.

Теперь Поляков стоял в дверях и повторял свой вопрос:

— Так у кого же за пазухой гроши?

Дыбенко улыбнулся:

— Во всяком случае, не у нас с тобой!

В тот вечер все мы отправились погулять в Купеческий сад над Днепром. Белый от цветущих яблонь и черемухи, розовато-лиловый от сирени, весь наполненный одуряющим ароматом весны, сад этот был так хо-

рош, что не хотелось уходить отсюда. Солнце уже пряталось, и его красноватые лучи, как огни прожектора, скользили по ровной глади Днепра. В ресторане над обрывом музыка играла старинный вальс. На каждом шагу попадались влюбленные пары.

Человек, сталкиваясь лицом к лицу с красотой природы, становится молчалив.

Мы посидели на скамейке, глядя на Днепр и на другой берег реки. Потом Коллонтай сказала:

— Наступит время, и жизнь человека станет такой же гармоничной и красивой, как природа...

День уходил... Постепенно зажигались в парке матовые фонари, освещая одну аллею за другой. Когда мы возвращались, вечерние улицы были овеяны покоем. У некоторых домов семьи сидели на завалинках и дети играли рядом. Из открытых окон доносились отзвуки голосов, иногда песня, иногда плач ребенка. Кое-где видно было, как люди готовились ко сну...

Мы подошли к «Континенталю». В вестибюле какой-то военный, ожидавший у конторки, подошел к Дыбенко, отдал честь и передал ему пакет.

— От командующего Первой армией товарища Мацилецкого... Срочно!

Дыбенко отошел в сторону, разорвал пакет, прочитал вынутую из него бумагу, потом вернулся к нам и сказал шепотом:

— Я должен немедленно уезжать. Восстал Григорьев!

После контрреволюционного восстания Григорьева (хотя оно было ликвидировано) и измены Махно положение быстро ухудшалось. 24 июня 1919 года Деникин захватил Харьков.

В Киеве было тревожно. Белополяки, разделавшись с Западной Украиной, вступили в соглашение с буржуазными украинскими националистами, обещая им в порядке компенсации создать «автономную Восточную Украину» в составе Польши. Они двигались из района Сарны — Луцк на Житомир, петлюровцы — на Бердичев. Их части, которые сдерживала дивизия Н. А. Щорса, занимали линию Ямполь — Жмеринка — Ярмолинцы — Волочиск.

Екатеринославская группа деникинских войск из Знаменки развивала наступление в двух направлениях — на Киев и на Вознесенск — Николаев — Одессу.

Генерал Шиллинг довольно быстро продвигался из Крыма на Херсон — Николаев.

29 июля деникинцы заняли Полтаву.

Обстановка в Киеве сильно обострилась. Перестрелки по ночам и нападения бандитов под самым городом на отдельных красноармейцев и советских работников стали обычными явлениями.

Контрреволюционные организации, действовавшие ранее с соблюдением правил конспирации, теперь активизировались, рассчитывая восстаниями в тылу ускорить падение советской власти.

В конце июля ВУЧК была раскрыта белогвардейская организация под руководством Карла Лайкс-Шантоля в Черниговском и Городнянском уездах.

В августе был захвачен подпольный штаб петлюровцев в Киеве на Миллионной улице. Руководители его — Назар Стодоля и Кузьма Корж — имели связь не только непосредственно с Петлюрой, но и со всеми крупными петлюровскими бандами на Украине.

В эти дни все коммунисты, а также значительная часть беспартийных советских служащих, пожелавших сражаться с ними плечом к плечу, встали под ружье.

В соответствии с телеграммой В. И. Ленина от 9 августа 1919 года: «...обороняться до последней возможности, отстаивая Одессу и Киев, их связь и связь их с нами до последней капли крови. Это вопрос о судьбе всей революции»,— делалось все возможное. Половина коммунистов из всех учреждений Киева отправились на фронт. Годных для военной службы мужчин заменяли женщинами. Рабочие шли на фронт почти поголовно. На предприятиях, не имевших военного значения, оставались только старики и женщины. Командующий Киевским укрепленным районом К. Е. Ворошилов обратился ко всем трудящимся с призывом удесятерить свои усилия для организации отпора Деникину.

В новой телеграмме в Киев от 13 августа В. И. Ленин и Е. Д. Стасова от имени Политбюро рекомендовали [1]: «... закрыть все комиссариаты, кроме военного, путей сообщения и продовольствия. Мобилизуйте всех поголовно на военную работу и поставьте задачей продержаться хоть немного недель, слив в одно учреждение Совнарком, Совобороны, ЦИК и ЦК КПУ...» [1]

А. М. Коллонтай была в эти дни подлинным «народным комиссаром агитации и пропаганды». Она написала брошюру «Не будь дезертиром!». Ее можно было видеть на заводах, в цехах, в казармах, на вокзале при отправке эшелонов на фронт.

---

[1] Ленинский сборник XXXIV, стр. 207.

Как-то члену Высшей военной инспекции С. А. Винокурову и мне случилось сопровождать ее при отправке очередного отряда коммунистов на фронт.

К вокзалу трудно было подступиться. Красноармейцы, мешочники, бабы из ближайших деревень, какие-то личности в выцветших гимнастерках и защитных грязных фуражках меняли сахар на сало и хлеб на махорку. Тут же торговали лепешками, яйцами и украинской колбасой. Люди кричали и ругались. Толчея была невообразимая.

Семен Винокуров, который имел около двух метров роста и такой ширины плечи, что ни один каптенармус не знал, где достать для него обмундирование, выдвинулся вперед, и тотчас образовалась дорожка, по которой мы прошли на вокзал.

Помощник коменданта, сутулый человек с опухшими от бессонницы веками, повел нас к эшелону. Я посмотрел на Александру Михайловну, ее голубые глаза казались серыми от усталости, бледное лицо осунулось, из-под платочка как-то беспомощно выбивалась каштановая прядь волос. Видно было, что она утомлена до предела.

На платформе пожилой командир в очках выстроил пополнение из добровольцев, которое он вез на фронт. Одетые как попало, разного возраста, люди плохо держали равнение и еще хуже винтовки. Они к ним не привыкли. Но на их лицах было выражение решимости драться до конца. Никаких признаков робости или той невольной растерянности, которую испытывает необстрелянный новобранец, впервые отправляясь на передовую. Словом, это были коммунисты, идущие в бой.

И я увидел, как у Коллонтай потемнели зрачки и

она сорвала платок с головы и оглянулась. Кто-то подставил ящик. Александра Михайловна вскочила на него и заговорила.

Ее звонкий певучий голос разносился далеко во внезапно наступившей тишине, щеки раскраснелись, глаза сияли. Иногда она непроизвольным движением поправляла непокорную прядь волос, спадающих на лицо. И я тогда любовался ею так, как может любоваться молодой человек двадцати лет женщиной, которая стала для него идеалом. Я восхищался ее красотой, обаянием, образованностью, умом. Сознаюсь честно — я не знал возраста Александры Михайловны, да и никогда не поверил бы, скажи мне кто-нибудь, что ей сорок семь лет. Когда Коллонтай кончила свою речь и раздалась команда «Вольно», люди с винтовками окружили ее, кричали: «Да здравствует революция!»

Загудел паровоз, вдоль состава пробежали взводные командиры, повторяя команду: «По вагонам!» Через несколько минут поезд тронулся, из раскрытых теплушек красноармейцы продолжали кричать и махать руками, прощаясь с Александрой Михайловной... Я смотрел на нее и видел, что она счастлива.

Когда мы направились к выходу, я невольно представил себе, как она шла вместе с рабочими 9 января 1905 года к Зимнему дворцу, когда было ранено и убито свыше шести тысяч человек, как в самые напряженные дни «керенщины» выступала в Кронштадте и Гельсингфорсе перед матросами Балтфлота. Недаром Керенский засадил ее в тюрьму и долго не разрешал выпустить даже под залог, несмотря ни на какие ходатайства.

Вечером того же дня я узнал от Семена Винокурова,

что через несколько дней А. М. Коллонтай с некоторыми другими товарищами уезжает на пароходе в Гомель. С. А. Винокуров ехал вместе с ней. Следовало зайти в номер и попрощаться.

Когда я постучал в дверь и услышал: «Войдите», то невольно задержался перед дверью. Незнакомая мне в других случаях робость охватила меня. Александра Михайловна сидела за письменным столом, быстро пробегая глазами бумаги, присланные на подпись.

— Ах, это вы,— сказала она,— садитесь, я скоро закончу...

И вдруг она наткнулась на одну бумагу, где было мое имя. Это была обыкновенная служебная бумага, адресованная командирам передовых частей, в которой говорилось, что я и В. А. Ордынский направляемся на другую сторону польского фронта...

Александра Михайловна повернулась ко мне, тень озабоченности и тревоги мелькнула на ее лице.

— Вы не боитесь, то есть я хочу сказать,— поправилась она,— вы уверены в себе? Это опасное, сложное поручение...

Говорят, что молодость глупа. Возможно. Во всяком случае, в тот момент я не думал ни об опасности, ни о сложности того, что мне предстояло сделать.

— Так ведь опасно всюду... Кругом — фронт...

Она встала, подошла ко мне и вздохнула:

— Ну что же, желаю вам удачи и скорого возвращения. В Гомеле вы, вероятно, меня не застанете. Но я надеюсь, что мы с вами еще увидимся...

В конце ноября 1920 года я был в Москве проездом из Харькова в Ташкент, куда получил назначение. После того разговора прошли год и три месяца. В этот

срок можно было вместить целую жизнь. Отступление на Гомель. Переход фронта. Подполье, арест, тюрьма. Неудачный побег из тюрьмы. Возвращение на родину в порядке обмена. Юго-Западный фронт и война с белопанской Польшей. Перемирие, ликвидация Врангеля. За эти пятнадцать месяцев я стал старше на пятнадцать лет.

Я шел по Тверской улице мимо «Националя», направляясь на Воздвиженку. Вдруг из подъезда гостиницы легкой походкой вышла женщина и пошла впереди меня. Что-то знакомое показалось мне в ее облике. Я ускорил шаг. Сапоги «со скобками» на каблуках гулко стучали по тротуару, и женщина оглянулась.

Бог ты мой, Александра Михайловна! Но как она изменилась! Лицо заострилось, глаза как будто потухли, волосы коротко подстрижены.

— Вот мы и встретились. Вернулись благополучно?

Я рассказал в нескольких словах о том, что было со мной за пятнадцать месяцев.

Она вздохнула:

— А я болела, тяжело болела. Брюшной тиф, заражение крови, да и сейчас сердце пошаливает. Теперь работаю в ЦК. А вы, вероятно, довольны, что едете в Туркестан. Совершенно новая обстановка, новые условия работы, путешествовать всегда интересно.

Около здания ЦК мы расстались. Самое удивительное, что она так ничего и не сказала о своей работе. И не потому, что это являлось тайной. Она руководила женотделом ЦК и фактически даже международным женским коммунистическим движением. Но такова была ее отличительная черта. Коллонтай не любила

говорить о себе и о значении своей работы и жила в условиях, которые и по тем временам могли считаться самыми скромными.

Александра Михайловна являлась первой женщиной в мире, которая вошла в состав правительства, и ей суждено было стать первой женщиной-послом. В 1923 году она была назначена полномочным торговым представителем в Норвегии (поскольку у этой страны не было официальных дипломатических отношений с Советской Россией), а с 1924 года после признания Норвегией правительства СССР единственной законной и суверенной властью в России — полномочным представителем СССР в этой стране.

В 1923 году она и П. Дыбенко расстались. Дважды в жизни Александре Михайловне приходилось расставаться с дорогими ей людьми. Она была натурой деятельной и в то же время женщиной, которая любила полно, горячо, сильно.

Первый раз это была разлука с мужем — Владимиром Людвиговичем Коллонтай. Это был благородный человек, преданный муж, выдающийся инженер. Но нужно было выбирать между обеспеченной, счастливой семейной жизнью и судьбой изгнанницы-революционерки, преследуемой царским правительством. Коллонтай выбрала второй путь, ибо он соответствовал ее убеждениям.

В 1951 году она записывает в свою тетрадь: «В моем сердце и памяти неизменно живет тепло и признательность к моему мужу, и мне больно вспоминать то горе, какое я причинила ему разрывом нашего брака, честному, гордому и во всех смыслах хорошему человеку...»

О своей любви к П. Дыбенко она пишет: «Наши встречи всегда были радостью через край, наши расставанья полны были мук, эмоций, разрывавших сердце... Вот эта сила чувств, уменье переживать полно, горячо, сильно, мощно влекли к Павлу...»

Революция бросала П. Е. Дыбенко с одного фронта на другой. Партия назначала А. М. Коллонтай на самые высокие посты. Иногда они подолгу не виделись. В 1923 году Александра Михайловна уехала в Норвегию. Возможно, были и другие причины, почему они расстались. Во всяком случае, они глубоко переживали этот разрыв.

В одном из писем к близким друзьям в 1923 году она пишет: «Я работаю вовсю. Невзирая на все страдания, деловито перехожу к закупке стольких-то бочек сельдей, к шкурам тюленей, к продаже зерна, к бесконечному вопросу о Шпицбергене и всяких «зонах». Так лучше...»

В то время я был консулом СССР в Турции, в городе Самсуне. По делам мне приходилось ездить в Константинополь, где находился Генеральный консул и председатель репатриационной миссии Владимир Петрович Потемкин, которого я знал еще по Юго-Западному фронту.

Генеральное консульство помещалось на Гран рю де Пера в обширном здании бывшего царского посольства, я же останавливался в отеле «Пера-Палас», но ежедневно бывал у Потемкина.

Однажды я застал у него человека небольшого роста, с умными глазами и пышной шевелюрой — Бориса Ильича Канторовича — секретаря наркома иностранных дел Г. В. Чичерина. Неожиданно возник раз-

говор об А. М. Коллонтай. Кажется, в связи с тем, какая страна, Норвегия или Англия, первой признает СССР.

Борис Ильич задумался, потом сказал:

— Думаю, что Норвегия. Ведь там Коллонтай. Знаете, когда она приехала в Норвегию, после Я. З. Сурица, все опасались, как ее там примут. До нее не было случая в истории дипломатии, чтобы женщина являлась представителем какого-нибудь государства...

Владимир Петрович Потемкин — высокий, полный мужчина с небольшой бородкой и коротко подстриженными усами, посмотрел поверх своего пенсне:

— Ну и как приняли?

— Превосходно. Сначала с любопытством: женщина — полномочный представитель. А потом она сделалась самой популярной фигурой в составе дипломатического корпуса. Ведь Александра Михайловна знает не только немецкий, французский и английский языки, как русский, она превосходно говорит и по-норвежски. А потом ум, умение держать себя, обаятельная внешность, редкая эрудиция — все это создало ей огромный авторитет в стране. И еще одно интересное обстоятельство. Она не только политический, но и торговый представитель. До нее Л. Б. Красин посылал туда опытнейших людей, но дело двигалось туго. Норвежские капиталисты — народ упрямый, хладнокровный и ситуацию на мировом рынке знают превосходно. При экономической блокаде, которой подверглась Советская Россия, положение их было самое выгодное, цены они диктовали сами: не хотите — не надо! Александра Михайловна никогда в жизни никакими торговыми

делами не занималась. И представьте себе — пошли выгодные сделки, одна за другой...

— Чем же вы это объясняете? — спросил я.

Канторович задумался:

— Есть у нее какое-то особое умение подойти к каждому человеку, понять его психологию...

Спустя несколько месяцев я должен был совершить поездку по Европе, с тем чтобы потом опять вернуться в Турцию. Но мой маршрут проходил вдали от Скандинавских стран, и мне не удалось увидеть Александру Михайловну. Но зато я много о ней слышал.

Коллонтай была полпредом и торгпредом в Норвегии до 1926 года, а потом полпредом в Мексике. Но там у нее начались сердечные приступы — не так-то легко было после Норвегии приспособиться к сухому и жаркому климату Мексики. Тем не менее Коллонтай и здесь работала очень напряженно и добилась больших успехов в развитии советско-мексиканских отношений.

Мексиканское правительство наградило ее высшим орденом — Агвила-Ацтека с лентой. В 1927 году Коллонтай вернулась в Норвегию на свой прежний пост. Норвежцы встретили ее как старого друга. В мемуарах иностранных дипломатов, относящихся к тому времени и касающихся Норвегии, упоминается о том, что А. М. Коллонтай пользовалась там всеобщим уважением. Когда Александра Михайловна в 1930 году была переведена в Швецию, норвежское правительство наградило ее большим Крестом Ордена Олафа I степени с лентой. В Швеции она провела пятнадцать лет. Это были нелегкие годы. В первое время было много неурегулированных экономических вопросов,

при этом ей пришлось совмещать работу в Швеции с работой в качестве члена делегации СССР в Лиге Наций и выезжать в Женеву.

Во время войны с белофиннами Швеция, в течение столетий связанная с Финляндией, заняла ярко выраженную антисоветскую позицию. Казалось, со дня на день следует ожидать разрыва дипломатических отношений. Но А. М. Коллонтай проявила необыкновенную дипломатическую ловкость, сочетавшуюся с выдержкой, и, когда создалась благоприятная военно-политическая обстановка, стала работать над проектом мирного договора с Финляндией.

Судьбы Финляндии и ее трудолюбивого народа были для нее особенно дороги. Она хорошо знала эту маленькую страну. Ведь ее мать была финка, детство и юность Александра Михайловна провела в Петербурге и Финляндии и каждое лето жила в усадьбе дедушки «Кууза», или, по-фински, «Куусен-Хоби». Усадьба эта находилась в глухих лесах Финляндии.

В записках А. М. Коллонтай описанию «Куузы» и ее обитателей посвящена отдельная глава. Она написана рукой талантливого литератора, который очень тонко чувствовал своеобразную прелесть финской природы. Недаром, когда А. М. Коллонтай в 16 лет сдала экзамен на аттестат зрелости, профессор Виктор Петрович Острогорский, считая, что у нее литературный талант, уговаривал ее заняться журналистикой.

Финляндию Александра Михайловна знала не только по личным впечатлениям.

Среди ее ранних теоретических трудов некоторые были посвящены рабочему движению в Финляндии. В 1906 году вышла в свет ее книга «Положение рабо-

чего класса в Финляндии», а в 1907 году брошюра «Финляндия и социализм». «За призыв к вооруженному восстанию» в этой работе царское правительство привлекло ее к судебной ответственности. В период революции 1905 года А. М. Коллонтай активно содействовала объединению действий обеих социал-демократических партий — русской и финской.

Но вернемся к 1940 году. 13 марта 1940 года мирный договор с Финляндией был заключен, и Коллонтай радовалась этому.

В 1933 году за выдающуюся дипломатическую работу правительство наградило А. М. Коллонтай орденом Ленина, а затем двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Перед Отечественной войной ей было около 70 лет. Но она, по свидетельству И. М. Майского[1], выглядела очень моложаво, обладала удивительной памятью и необыкновенной работоспособностью.

Коричневая фашистская чума распространялась по Европе. Гитлеровцы оккупировали Норвегию, Данию, Голландию, посылали войска в Финляндию, угрожали Швеции и вели там фашистскую пропаганду. Напав на Советский Союз, они пытались склонить Швецию на свою сторону.

Для того чтобы Швеция осталась нейтральной, нужно было умно и смело бороться с происками гитлеровской дипломатии и пропаганды.

В разгар войны, в 1942 году, А. М. Коллонтай стала главой дипломатического корпуса в Стокгольме. Это

---

[1] И. М. Майский — академик. Во время Великой Отечественной войны посол СССР в Англии.

открывало перед ней новые возможности. Одна из основных задач, поставленных перед ней Советским правительством, заключалась в том, чтобы вывести Финляндию из войны. Юхо Кусти Паасикиви неофициально приехал в Стокгольм и встретился с А. М. Коллонтай. 25 августа 1944 года посланник Финляндии в Швеции передал ей ноту с просьбой принять в Москве финскую делегацию. 4 сентября Финляндия вышла из войны. Финские войска начали боевые действия против тех немецких частей, которые не хотели добровольно эвакуироваться.

Впоследствии президент Финляндии Урхо Кекконен писал:

«Искреннее стремление мадам Коллонтай помочь Финляндии выйти из войны мы вспоминаем с большой благодарностью».

Сама же Коллонтай пишет: «Я поплатилась во время переговоров параличом левой ноги и руки, но продолжала работать и оставалась на поле брани до отъезда делегации Финского правительства в Москву, после чего слегла от истощения и воспаления легких».

Она лечилась долго и упорно, в то же время продолжая работать. К концу 1944 года Александра Михайловна уже могла ходить, опираясь на палку. Весной 1945 года А. М. Коллонтай вернулась на родину и была назначена советником Министерства иностранных дел.

В 1946 году, возвратясь в Москву, я зашел в Министерство иностранных дел. Старых наркоминдельцев осталось очень немного. Кто-то из них, когда зашел разговор об Александре Михайловне, дал мне ее адрес на Большой Калужской. Мне захотелось немедленно

ее навестить. Но я тут же сдержал себя: прошло двадцать шесть лет. В моей памяти жила обаятельная, полная деятельной силы, молодая женщина. Какова она теперь — в 74 года, страдающая тяжелым недугом? Спускаясь по лестнице к выходу, я взглянул на себя в зеркало и подумал: «Нет, этого не следует делать...»

И все-таки я ее увидел. В Ленинский день я, как и другие писатели, пошел в Центральный дом литераторов. Там мне сказали, что приедет А. М. Коллонтай.

— Как приедет, разве она может ходить?

— Да, приедет...

Зал был переполнен. Вдруг двери открылись, и Александру Михайловну ввезли в зал в кресле. Я смотрел на нее не отрываясь. Эта была полная, величественная женщина, тщательно причесанная и скромно, но со вкусом одетая. Конечно, годы, болезнь, все пережитое оставило следы на ее лице. Но глаза, глаза живые, умные, в которых светилась огромная внутренняя сила, говорили о человеке деятельном и еще полном энергии.

Кто-то прочел с трибуны ее рассказ о В. И. Ленине. Когда чтение закончилось и гром аплодисментов разорвал напряженную тишину, Коллонтай встала, опираясь на палку, и наклонила голову...

Автор прекрасной биографии А. М. Коллонтай А. М. Иткина цитирует письмо Александры Михайловны к В. Юреневой: «Сегодня я сижу в кресле и диктую письмо. Ночью не было болей в сердце, и потому рискнула посидеть часок-другой. С сердцем довольно серьезно, но я еще далеко не закончила своих дел на этой планете и поэтому не собираюсь лететь в меж-

планетное пространство в виде маленького атома... Настроение у меня хорошее...»

Письмо было написано 25 февраля 1952 года. А 9 марта 1952 года Александра Михайловна Коллонтай скончалась почти восьмидесяти лет от роду.

В межпланетное пространство первыми полетели и вернулись живыми другие большевики, большевики нового, молодого поколения.

Но если они смогли совершить такой подвиг, то этим они обязаны великой ленинской гвардии, которая построила первое в мире социалистическое государство.



ТРУД ЯВЛЯЛСЯ ЕГО ЖИЗНЬЮ

В первый раз мне пришлось встретиться с Анатолием Васильевичем Луначарским вскоре после Октябрьской революции. Он пригласил к себе группу литераторов в связи с проектом создания «Дома свободного искусства» в Москве. Этот клуб должен был стать центром, объединяющим художественную интеллигенцию, изъявившую желание работать с советской властью.

Луначарский пригласил людей самых разнообразных политических взглядов и художественных направлений. Разговор происходил в номере гостиницы «Метрополь», напоминавшей в те дни Ноев ковчег. Кто тут только не обитал, начиная с именитых иностранцев и кончая известным анархистом, актером Мамонтом Дальским.

Анатолий Васильевич, по-видимому приехавший на несколько дней из Петрограда, был в синем костю-

ме и косоворотке; лицо усталое, голос охрипший — тогда митинги и собрания, на которых большевики спорили с эсерами и меньшевиками, начинались рано утром и кончались поздно вечером.

Разговор в номере «Метрополя» несмотря на то, что Луначарский был очень опытным председательствующим, шел бестолково, все друг друга перебивали, перескакивали с одного вопроса на другой. Анатолия Васильевича куда-то спешно вызвали, и он уехал.

Но результат беседа все-таки имела: в лучшем ресторане дореволюционной России — «Эрмитаже Оливье» на Трубной площади — открылся «Дом свободного искусства». Бывшие директора «Эрмитажа» принялись за дело вместе с поварами и метрдотелями.

В большом зале на белоснежных скатертях засверкали серебро, фарфор и хрусталь. Из подвалов извлекали старые вина, зернистую икру и страсбургские паштеты. Музыканты Фердинанда Криша, в черных фраках, накрахмаленных воротничках и белых галстуках, снова заняли свои места. Раскрылся занавес, и на сцене появились длинноногие балерины ансамбля Арцыбушевой во главе с известными танцовщицами Марией Юрьевой, Воронцовой-Ленни и Лидией Джонсон. Буржуазия, которая еще на что-то надеялась, а также театральные, кинематографические и литературные «звезды», считавшие, что они будут сиять при любых правительствах, толпой повалили в это заведение. Члены совета Дома — литераторы самых разных направлений, от Андрея Белого до Анатолия Каменского,— встречали посетителей с таким видом, будто они заняты серьезнейшим делом.

Я уехал вскоре на Южный фронт, но, насколько

мне известно, кончилось предприятие тем, что запасы продовольствия были съедены, вино выпито, танцовщицы сбежали на юг или за границу, литераторы, начавшие это дело, разбрелись кто куда. Клуб этот не сыграл той положительной роли, которую предназначал ему Анатолий Васильевич.

Десять лет я провел на разных фронтах и за границей. В 1928 году меня назначили заведующим театральным и музыкальным отделом Главного репертуарного комитета при Наркомпросе. Тогда все руководство искусством было сосредоточено в Наркомпросе. И театры и киностудии были совершенно самостоятельны в своей творческой деятельности. Репертуарный комитет только контролировал их и давал им общее, главное направление. Зрелищных предприятий было много. Кроме общеизвестных старейших театров существовали театр ВЦСПС во главе с Алексеем Диким, поставившим первую пьесу Афиногенова; МХАТ 2-й во главе с И. Берсеневым, «Камерный театр» во главе с А. Таировым; театр Мейерхольда; «Реалистический театр» Н. Охлопкова; «Новый театр» Ф. Каверина; «Семперантэ» — театр импровизации под руководством А. Быкова и А. Левшиной; «Мюзик-холл», где ставил Н. Горчаков, и множество других театров и театральных студий.

Не допуская бюрократического администрирования в области культуры, А. В. Луначарский, однако, требовал, чтобы в руководстве искусством четко проводилась политика партии, и резко выступал против поборников так называемого «искусства для искусства».

«Я, конечно, вел ту линию,— говорил Луначарский,— которая проверялась и находила себе опору в

наших центральных государственных и партийных учреждениях. Это есть политика Советской власти. Иногда некоторые впадают в заблуждение и начинают плясать каннибальский танец вокруг этой политики.

Я хочу, чтобы все знали, что, занимая такую позицию, они находятся в оппозиции по отношению к партийной линии, к советской культурной политике» [1].

Проводить эту репертуарную политику, не подавляя творческой инициативы и способствуя соревнованию разных жанров,— такова была главная задача комитета. Так и ориентировал нас Анатолий Васильевич.

Недели через две после моего вступления в должность мне позвонил Анатолий Васильевич и попросил зайти к нему. Это было в середине рабочего дня. Так как он уже вызывал меня до этого по некоторым вопросам, то я спросил, сейчас ли я должен зайти.

— Да нет,— ответил он,— приходите ко мне домой вечером. Ну хотя бы завтра, если вы свободны.

Я, признаться, был несколько смущен. За границей я убедился, каким авторитетом пользовался Луначарский среди передовой интеллигенции всего мира как деятель культуры, статьи которого по искусству и литературе перепечатывались самыми разнообразными изданиями. Кроме того, он был народным комиссаром, и такая простота обращения меня удивила.

На другой день я сидел в маленьком кабинете большой квартиры, которую занимал Анатолий Васильевич в Денежном переулке на Арбате. Луначарский обладал яркой, запоминающейся внешностью. Это был крупный

---

[1] «А. В. Луначарский о театре и драматургии». Избранные статьи в двух томах, т. 1. М., «Искусство», 1958, стр. 551.

мужчина с большим покатым лбом, умными карими глазами, которые поблескивали из-под стекол пенсне, и на редкость обаятельной улыбкой. Говорил он настолько образно, остроумно, изящно и легко, что многие его застольные беседы, особенно если они касались вопросов искусства, представляли сами по себе художественную ценность, и жалко, что они не записаны.

Я успел к тому времени напечатать два романа — «Бактриана» и «Записки Шарля Люсието», перевод «Воспоминаний» Кемаль-паши, много рассказов и очерков. Оказывается, Анатолий Васильевич некоторые из этих вещей читал. Меня это очень удивило, я еще не знал тогда, какое количество книг он ухитрялся прочитывать. Высказав ряд замечаний по поводу моих произведений, Луначарский начал расспрашивать, какого я мнения о наших театрах, их постановках, об отдельных режиссерах, актерах и музыкантах.

По мере того, как шел разговор, Анатолий Васильевич все больше оживлялся. Все, о чем бы он ни говорил, Луначарский знал так, как никто, кроме него, не мог знать. Он знал не только историю и художественную природу каждого советского театра, но и всех известных театров в Европе; знал режиссеров и ведущих актеров, знал пьесы, которые они ставили. А ведь театральное искусство было только небольшой частью мировой культуры, которой Луначарский занимался в целом. Он превосходно знал музыку, живопись, историю материальной культуры, не говоря уже о литературе.

Меня же он расспрашивал, конечно, только для того, чтобы выяснить, могу ли я заниматься делом, которое мне поручено.

Наконец, придя, видимо, к определенному выводу, он встал:

— Пойдемте, я вас познакомлю с Натальей Александровной.

С тех пор и до самой его смерти я встречался с ним часто и в разнообразной обстановке. Теперь, когда прошло около сорока лет со дня смерти Анатолия Васильевича, ярко встают в памяти наиболее характерные черты этого выдающегося деятеля советской культуры.

Я уже говорил о том, что он был замечательным собеседником. Его огромная, неисчерпаемая эрудиция вызывала удивление у всех. Несмотря на постоянную перегруженность, он успевал много писать и читать. Помимо руководства народным образованием, культурой и наукой, Луначарский постоянно нес дипломатические обязанности, вместе с М. М. Литвиновым представлял Советский Союз в Лиге Наций. Кроме того, он читал лекции и выступал очень часто с докладами на разные темы.

Теперь многие забыли пьесы Луначарского. А между тем они сыграли большую роль в развитии советского театра. Луначарский был первым драматургом, который сумел философски раскрыть трагедию Оливера Кромвеля, показать утопичность мечтаний Фомы Кампанеллы, наивность Дон-Кихота. В «Оливере Кромвеле», шедшем на сцене Малого театра, играли два крупнейших русских актера — А. И. Сумбатов-Южин и П. М. Садовский.

Драматические произведения Луначарского знакомили советских людей с наиболее яркими страницами в истории борьбы за свободу человечества.

Анатолий Васильевич читал свои пьесы за столом так, что слушатели чувствовали себя зрителями, перед которыми на сцене разыгрывается действие.

Луначарский был одним из лучших ораторов своего времени.

Революция родила тысячи блестящих ораторов. От умения комиссара говорить часто зависела ликвидация недовольства в воинской части или на заводе, удачное выполнение хлебозаготовок, а иногда и успех наступления. Старые большевики, которые десятилетиями вели пропаганду среди рабочих, крестьян, солдат, научились до тонкости чувствовать настроение аудитории и умели убеждать людей. Луначарский в совершенстве владел ораторским искусством. Он мог без всякой подготовки и без всякого напряжения выступать хоть три часа подряд, и ни один слушатель не в состоянии был уйти из зала. Обладая удивительной памятью, он цитировал источники, приводил множество фактов, не заглядывая ни в какие материалы.

Обычно Анатолий Васильевич перед докладом в маленьком блокнотике набрасывал карандашом несколько строк — основные тезисы — и в течение всего доклада два-три раза, сняв пенсне и приблизив блокнотик к глазам, заглядывал в него.

Чтобы судить, какая у Луначарского была память, достаточно привести хотя бы один пример. После того как я начал работать в Главреперткоме, решено было издавать ежемесячный журнал «Искусство». Я был членом редколлегии и ответственным секретарем этого издания. Луначарский, как главный редактор, должен был написать вступительную статью к первому номеру. И вот номер готов, набран, а статьи все нет. Я звоню

Анатолию Васильевичу, он говорит: приезжайте завтра утром пораньше, прочтите и возьмите.

Утренние часы, до отъезда в Наркомпрос, Анатолий Васильевич Луначарский посвящал литературной работе, диктовал стенографистке или просматривал письма, адресованные ему лично. Высокий, крупный, в синем халате, он каким-то особым, непередаваемым жестом снимал пенсне и, приблизив листок к глазам, одним взглядом схватывал его содержание.

Никогда ни у кого я не встречал такой способности быстро читать с листа и запоминать прочитанное.

А писем было множество и самых разнообразных, начиная от жалобы какой-нибудь учительницы из затерянного в глуши села на местный наробраз и кончая пачками разноцветных конвертов, оклеенных иностранными марками.

Приезжаю. По маленькому кабинетику расхаживает Анатолий Васильевич в халате и диктует передовую статью стенографистке, цитируя Маркса, Энгельса и Ленина с указанием тома, страницы, года издания и т. д. Я не выдержал и спросил: когда он читал последний раз ту работу Энгельса, которую цитирует? Он задумался и говорит:

— Последний раз в русской библиотеке в Женеве, в пятнадцатом году.

— Так как же вы можете цитировать на память? Луначарский улыбнулся:

— Хотите проверить, не ошибся ли я в чем-нибудь? Пожалуйста. Игорь Александрович!

Вошел И. А. Сац, его литературный секретарь. Анатолий Васильевич попросил его отыскать и принести

нужный том. Я проверил. Никакого разночтения с подлинником!

Именно в связи с изданием журнала «Искусство» мне воочию пришлось убедиться, каким авторитетом пользовался Анатолий Васильевич у самых известных деятелей мировой культуры.

Было сочтено крайне важным привлечь к участию в этом журнале наиболее видных прогрессивных писателей, режиссеров, художников Запада.

А. В. Луначарский поручил мне составить проект соответствующего письма к лицам, список которых он продиктовал. Явившись к нему, я подал проект письма, отпечатанный на бланке редакции журнала.

А. В. Луначарский прочел письмо и посмотрел на меня поверх пенсне с той незабываемой особой улыбкой — умной и иронической,— которая навсегда запоминалась каждому, кто с ним общался.

— Неужели вы думаете,— сказал он,— что на этих людей, переобремененных всякого рода просьбами о сотрудничестве, так подействует официальный бланк нашего скромного журнала? Нет, уж вы напишите лучше небольшую просьбу от моего имени и пришлите мне текст. Я посмотрю и отправлю как личное письмо.

Такие письма были отправлены, и, насколько мне помнится, почти все, кому они были посланы, дали обещание сотрудничать. Среди людей, с которыми у Луначарского были дружественные личные отношения, находились многие выдающиеся деятели передовой культуры Запада первой половины нашего века: Бернард Шоу и Ромен Роллан, Герберт Уэллс и Анри Барбюс, Вайян Кутюрье и Бертольт Брехт, Бернгард Келлерман

и Марсель Кашен, Фирмен Жемье и Макс Рейнгард, Сандро Моисси и Эрнст Толлер, Курт Вейль и Стефан Цвейг.

Луначарский пользовался большой славой и у нас, и в Европе. Недаром Ромен Роллан назвал Анатолия Васильевича «всеми уважаемым послом советской мысли и искусства на Западе».

Однако сам Луначарский «славу» рассматривал очень своеобразно.

Однажды зашел разговор об одном писателе, авторе грубонатуралистических романов, весьма популярном в двадцатые годы и ныне забытом.

Этот писатель очень любил свою «славу»: он много выступал, привык фотографироваться и неизменно появлялся в президиуме на всех торжественных заседаниях.

Анатолий Васильевич посмотрел на меня и улыбнулся:

— Слава! Разные бывают славы... Одна слава похожа на горящую спичку: кто-то ее зажег — она горит, дунули — она потухла... И бывает другая слава. Есть одна учительница в Москве, до революции она работала в народных школах, теперь преподает в нашей образцовой семилетке. За сорок лет своей работы она десятки тысяч людей сделала грамотными...— И он завистливо вздохнул: — Вот это слава!

Сам Луначарский в течение тридцати лет был наиболее выдающимся посредником между передовой интеллигенцией Запада и демократической культурой русского народа.

Это было настолько общепризнано, что когда летом 1933 года, в Париже, Максим Максимович Литвинов со-

общил Анатолию Васильевичу о назначении его полномочным представителем в Испании, то при этом он прибавил:

— Ну и, разумеется, вы будете представителем советской культуры в Европе.

Если огромный вклад Луначарского в развитие советской культуры в какой-то мере отражается в его собственных трудах и в истории советского искусства и просвещения, то совсем мало материалов о том, какую роль он сыграл в установлении связи молодого Советского государства с передовой интеллигенцией всего мира.

Отчасти в этом виноват сам Анатолий Васильевич. Будучи человеком необычайно скромным и считая постоянное общение с наиболее известными деятелями западной культуры только одной из своих многочисленных обязанностей, он просто уничтожал все те письма, которые не имели государственного значения или не связаны были с какими-нибудь организационными мероприятиями. Часто бывая за границей и сталкиваясь там со множеством замечательных людей, он никогда не вел специальных записей своих бесед с ними. То, что опубликовано до сих пор, например рассказ об одном из посещений Ромена Роллана или беседы с Фирменом Жемье,— ничтожные крупицы в тридцатилетней истории деятельности Луначарского как посредника между передовой интеллигенцией Запада и демократической культурой русского народа.

Примерно года за три до своей смерти Наталья Александровна Розенель-Луначарская показала мне несколько тетрадей с записями Анатолия Васильевича о его встречах с различными людьми. Помнится, там бы-

ли характеристики Бернарда Шоу, леди Астор [1] и других. Это были дневники, но записанные как бы тезисно. Они должны были, по-видимому, служить материалом для будущих воспоминаний. Расшифровать их, то есть восстановить обстоятельства отдельных встреч, обстановку, в которой они происходили, могла бы только сама Наталья Александровна. Она собиралась это сделать, но так и не успела.

Та популярность, которой пользовался А. В. Луначарский на Западе, объяснялась прежде всего его литературным талантом. Начиная примерно с 1903 года А. В. Луначарский систематически пишет из эмиграции корреспонденции в Россию. Они печатаются почти во всех передовых газетах и журналах. В них он знакомит читателей со всеми выдающимися явлениями западной культуры. Уже тогда у него складываются дружественные отношения с Роменом Ролланом, Августом Форелем, знаменитым швейцарским поэтом К. Шпиттелером, часть произведений которого он перевел на русский язык.

Его статьи о западноевропейском театре и литературе перепечатывались многими иностранными изданиями. Он был одним из тех немногих критиков двадцатого века, статьи которых являлись неким эталоном для оценки тех или иных явлений в искусстве.

Кроме того, Анатолий Васильевич был настоящим полиглотом, то есть отлично знал польский, немецкий, французский, английский, латинский и итальянский

---

[1] **Леди Астор** — представительница крайних консерваторов, в доме которой перед второй мировой войной собирались сторонники «мюнхенской» политики.

языки. Все это ставило его в один ряд с наиболее видными деятелями западноевропейской культуры.

В 1925 году праздновалось двухсотлетие основания Российской Академии наук. Прибыло много иностранных ученых. На торжественном заседании выступил А. В. Луначарский с блестящей речью. Начал он ее по-русски, а затем продолжал на немецком, французском, английском, итальянском и латинском языках.

После Октябрьской революции Советская Россия, в первые годы своего существования, была окружена не только кольцом вражеских фронтов, но и действительно отделена от остального мира «железным занавесом» злобной клеветы. Десятки тысяч газет и журналов в капиталистических странах ежедневно старались перещеголять друг друга в измышлениях по адресу большевиков и описаниях ужасов, якобы происходивших на советской территории.

Даже самые передовые деятели западной культуры, с первых дней образования Советского государства относившиеся к нему с симпатией, рассматривали марксизм как утопическую философию и прошли длинный путь колебаний и индивидуалистических иллюзий, прежде чем прийти к признанию пролетарской революции.

Герберт Уэллс, написавший в 1920 году «Россию во мгле», только через 25 лет, в 1945 году, опубликовал письмо в «Дейли уоркер», в котором объявил о том, что будет голосовать на выборах за коммунистическую партию.

Ромен Роллан через 14 лет после Октябрьской революции — в 1931 году — написал знаменитую статью «Прощание с прошлым», в которой, критикуя свои

ошибки, встал на путь открытой поддержки пролетарской революции.

Весь этот процесс сдвигов в среде передовой западной интеллигенции можно было охарактеризовать замечательной фразой А. В. Луначарского в очерке о посещении в 1932 году Ромена Роллана: «Хорошо, когда крупнейшие люди эпохи, иногда издали, но все же верною стопою приходят к великим идеям своего времени».

Разумеется, для того чтобы полностью осветить деятельность А. В. Луначарского в области развития культурных связей с капиталистическими странами и на фронте борьбы за мир и разоружение, нужно написать специальное исследование. Здесь можно только вспомнить о том, какое влияние оказывал Луначарский на формирование взглядов отдельных деятелей культуры.

Ромен Роллан в своей книге «Пятнадцать лет борьбы» рассказывает: «В конце 1915 года будущий комиссар народного просвещения Советов Анатолий Луначарский посетил меня. Он был для меня, так сказать, послом будущего, вестником грядущей русской революции, о которой говорил спокойно и уверенно, что она несомненно произойдет к концу войны, что это дело решенное. При этих словах Луначарского я почувствовал, как «рождается новая Европа и новое человечество».

А. В. Луначарский в высшей степени обладал тем чувством меры такта и достоинства, которое так важно в отношениях с людьми другого мировоззрения.

Мне пришлось в 1931 году находиться в ложе одного из московских театров, когда Анатолий Васильевич пригласил на спектакль Бернарда Шоу и леди Астор. В антракте, когда занавес опустился, Бернард Шоу ска-

зал, что ему спектакль нравится и что он совсем не похож на те, которые ему приходилось видеть в Европе.

Леди Астор оглядела своими голубыми, холодными глазами партер и прибавила:

— Да, спектакль другой и публика совсем другая...

Анатолий Васильевич, по-видимому, почувствовал какой-то особый оттенок в этой фразе, потому что тут же ответил:

— Да, сударыня, наша публика отличается глубоким пониманием искусства и чувством прекрасного, что не так часто можно встретить на Западе.

Помимо ежегодных поездок за границу и личного общения со множеством выдающихся людей, А. В. Луначарский выступал почти на всех международных конгрессах, связанных с вопросами культуры. Иногда это требовало от него огромного напряжения сил. Достаточно указать, что в 1930 году он выступал на международном философском конгрессе в Оксфорде и Гегелевском конгрессе в Гамбурге, в 1932 году — весной в Веймаре на подготовке к Гётевскому конгрессу, в Гааге — на историческом конгрессе, осенью во Франкфурте-на-Майне — на Гётевском юбилейном конгрессе, в ноябре того же года — на историческом конгрессе в Гамбурге.

А. В. Луначарский был выдающимся борцом за мир и всеобщее разоружение. Уже в ноябре 1927 года он участвовал в подготовительной комиссии Лиги Наций по разоружению вместе с М. М. Литвиновым, а с 1928 года и до 1932 года включительно в конференциях по разоружению.

Помимо своих выступлений на пленумах и конфе-

ренциях, в которых во всей силе проявился его талант оратора и блестящего полемиста, А. В. Луначарский написал ряд статей и памфлетов, разоблачающих лицемерие капиталистических правительств, затягивавших переговоры о разоружении и подготавливавших новую войну. Таковы: «Разоружение», «Как они разоружались», «Как Лига Наций делает мир», «Буржуазные журналисты и война», «Раймонд Пуанкаре».

Возвращаясь к Луначарскому как к оратору, не могу не вспомнить случай довольно комического свойства. Однажды (кажется, году в 1928 или 1929-м) мы поехали на собрание комсомольского актива в Замоскворечье. Подвозит нас шофер к какому-то особняку, мы проходим на сцену. В зале прокатывается крик: «Луначарский приехал!» Все встают и аплодируют. Председатель, очень довольный, встает и говорит: «К нам приехал дорогой Анатолий Васильевич, попросим его выступить!»

Между тем я всматриваюсь и не вижу нигде ни одного комсомольца. Председатель продолжает:

— Впервые на районное собрание работников промысловой кооперации приезжает член правительства. Я думаю, что труженики наших артелей оценят такое внимание.

Анатолий Васильевич посмотрел на меня, на председателя и медленно подошел к трибуне. Сорок минут с лишним продолжался доклад о значении промысловой кооперации в советском хозяйстве.

Как-то Анатолию Васильевичу задали вопрос: «Как вам удается так легко выступать, оперируя при этом огромным фактическим материалом?»

Он ответил: «Я готовился к этому всю жизнь».

Жил Луначарский в материальном отношении, вопреки обывательским представлениям, скромно. К тому же Анатолий Васильевич по своему характеру никогда не мог отказать, когда его просили выступить бесплатно — в пользу студентов, престарелых актеров, беспризорных, «молодых дарований» и т. д. А такие доклады на разные темы отнимали много времени. Он был очень отзывчив на чужую беду, лично отвечал на многие письма и принимал всех, кого физически мог принять. Бывало, сидит в кабинете и пишет, низко наклонившись над бумагой, своим мелким, не очень четким почерком.

— Ну вот, кажется, хорошо...

— А в чем дело?

— Понимаете, пионеры из Сибири письмо прислали, надо не только ответить самому, но и написать так, чтобы они поняли и запомнили.

Или вот входит в кабинет студент из МГУ и начинает рассказывать длинную историю о бедствиях своей семьи. Анатолий Васильевич внимательно слушает. Наконец студент кончил говорить, но так и непонятно, чего он хочет. Анатолий Васильевич вздыхает:

— А как ваша успеваемость?

— Как же...— Студент подает какие-то бумаги.

Анатолий Васильевич смущенно говорит:

— Насколько я мог понять, речь идет о некотором материальном вспомоществовании, а средства у Наркомпроса и университета на этот квартал совершенно исчерпаны... Впрочем, я тогда из своих, но только у меня не много...

Анатолий Васильевич лезет в бумажник, достает деньги, считает, передает их студенту, провожает его до дверей и говорит ему:

— Самое главное — учитесь как следует... Подумайте, как старые большевики жили в тюрьмах и в ссылке, а все-таки никогда не переставали учиться.

Возвращается, садится в кресло и обращается ко мне:

— Конечно, через несколько лет мы сумеем обеспечить каждого успевающего студента. Но пока, пока трудновато...

Несмотря на огромную служебную нагрузку, Анатолий Васильевич помимо текущей литературной работы ухитрялся выделять определенное время для своих основных фундаментальных трудов. «История западноевропейской литературы», «Классики русской литературы», «Статьи о русской критике», «Ленин и литературоведение», «Судьба русской литературы», «Диалог об искусстве», «Поэмы в красках и мраморе», два тома пьес, «В мире музыки» — вот далеко не полный перечень его крупных работ.

О Ленине Луначарский никогда не мог говорить без волнения. Общеизвестно, что Владимир Ильич очень любил Луначарского, называл его «чертовски талантливым человеком». Это, конечно, не мешало Ленину критиковать Луначарского в период «богостроительства», когда тот допускал ревизию философских основ марксизма или когда он позднее проявлял в своей практической работе слишком большую уступчивость по отношению к формалистам, объявлявшим себя «новаторами». А «новаторами» тогда себя считали и футуристы, и имажинисты, и в особенности пролеткультовцы. Пролеткультовцы додумались даже до того, что отрицали всякую преемственность в области культуры, решили строить ее на голом месте и, главное, самостоя-

тельно, вне зависимости от политики партии. Они считали, что «Пролеткульт является культурно-творческой организацией пролетариата, как партия — его политической организацией». Анатолий Васильевич не без юмора рассказывал, как после его неудачного выступления на съезде Пролеткульта Ленин предложил ему провести на том же съезде резолюцию, осуждающую его собственное выступление. Исправляя ошибки Луначарского, Ленин умел в полной мере использовать все его способности, дать нужное направление его таланту.

Анатолий Васильевич говорил о Ленине с большим внутренним волнением и нежностью и, если можно так выразиться, полностью усвоил ленинскую манеру обращения с людьми.

Луначарский умел слушать людей, умел понимать их и относиться к ним доброжелательно, думая о том, чем можно им помочь. И еще одно. Ученый, литератор, режиссер, актер, художник, музыкант, разговаривая с Луначарским, знал, что он разговаривает с человеком, который понимает его профессиональные интересы, так как сам является выдающимся деятелем культуры. Отсюда — огромная любовь к Луначарскому нашей художественной и научной интеллигенции. Достаточно сказать, что при баллотировке в члены Академии наук в период, когда среди академиков было еще очень мало коммунистов, Луначарский был избран единогласно.

Однако его доброжелательность вовсе не являлась результатом этакого либерального покровительства всем и каждому. А. В. Луначарский был человеком глубоко принципиальным, с сильным характером и не

боялся вступать в конфликты даже с людьми, которых уважал и ценил.

Приведу два примера. Первый относится к 1920 году.

Управляющий делами Совнаркома Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич еще до первой мировой войны пользовался известностью как литератор и партийный деятель.

Он находился в давних и добрых отношениях с Луначарским. Но в 1920 году кремлевской автобазе понадобился для каких-то нужд особняк, в котором жил Станиславский. Константину Сергеевичу предложили переехать в другое помещение. Гражданская война, голод, экономическая разруха очень сильно сказались на жизни всех театров. МХАТу с его традициями и величайшей требовательностью, которые он предъявлял и к актерам и к зрителям, приходилось особенно трудно. Весь сложный и в то же время необыкновенно четко работающий механизм МХАТа разваливался. О чем можно было говорить, когда помещение не отапливалось, зрители приходили в зал в верхней одежде, актеры голодали. Ко всему этому Станиславский еще вынужден был покидать родное гнездо, к которому привык и в котором зародилась и разрабатывалась вся система Художественного театра.

Анатолий Васильевич был очень взволнован всеми этими обстоятельствами. Он немедленно связался с Бонч-Бруевичем, но Владимир Дмитриевич, обычно шедший ему навстречу, на этот раз не захотел отказаться от своего распоряжения. И тогда А. В. Луначарский написал письмо В. И. Ленину. Оно настолько характерно, что я его привожу дословно.

«Председателю Совета Народных Комиссаров
тов. В. И. Ленину

2 июля 1920 года

Дорогой Владимир Ильич,

Руководитель Художественного театра Станиславский один из самых редких людей как в моральном отношении, так и в качестве несравненного художника.

Мне очень хочется всячески облегчить его положение. Я, конечно, добьюсь для него академического пайка (сейчас он продает свои последние брюки, на Сухаревой), но меня гораздо больше огорчает то, что В. Д. Бонч-Бруевич выселяет его из дома, в котором он жил в течение очень долгого времени и с которым сроднился. Мне рассказывают, что Станиславский буквально плакал перед этой перспективой.

В свое время я обратился к Бонч-Бруевичу с просьбой отказаться от реквизиции квартиры Станиславского, но Владимир Дмитриевич, обычно столь мягкий, заявил мне, что он не может отказаться ввиду нужды автобазы.

Я все-таки думаю, что никакие нужды автобазы не могут оправдать этой культурно крайне непопулярной меры, которая заставляет и мое сердце поворачиваться, и вызывает очень большое недовольство против нас самой лучшей части интеллигенции, явится даже в некоторой степени каким-то европейским скандалом. Мы в последнее время таких мер не принимали никогда.

Прилагаю при сем записку Станиславского, подан-

ную им в Музейно-театральную комиссию при ТЕО. Конечно, я соответственное распоряжение дам, но у меня рука не поднимется на него до тех пор, пока я не сделаю все от меня зависящее, чтобы выселение было приостановлено, но так как категорически воспретить В. Д. Бонч-Бруевичу его действия я не могу, то поэтому я решил обратиться к Вашему авторитету.

Крепко жму Вашу руку.

А. Луначарский.

Разумеется, В. И. Ленин отменил распоряжение В. Д. Бонч-Бруевича.

Другой пример относится к более позднему времени — к январю 1922 года.

Известно, что Анатолий Васильевич с большим уважением относился к академику Игорю Грабарю. Игорь Грабарь в то время был хранителем Третьяковской галереи. После Октябрьской революции в музеях хранилось большое количество картин, принадлежавших ранее частным владельцам. Естественно, что когда были национализированы дворцы царских вельмож, то огромнейшие коллекции Юсупова, Шереметева и других переданы были в музей. Но туда же перешли и все картины из других особняков и богатых квартир, поскольку в первый период революции, когда они хаотически были заняты различными организациями, а иногда и отрядами, формировавшимися анархистами, левыми эсерами и т. д., надо было спасти картины, имевшие художественную ценность. Специального декрета о национализации имущества частных коллекционеров не было издано, и оно просто находилось под

охраной государства в музеях. В связи с новой экономической политикой Игорь Грабарь счел возможным некоторые картины возвратить бывшим владельцам.

Анатолий Васильевич решительно вмешался в это дело и предложил немедленно вернуть розданные картины в музеи.

Вот что он писал своему заместителю тов. Литкенсу.

«Зам. Наркома тов. Литкенсу, 17 января 1922 года.

...Мы в течение четырех лет хранили за свой счет весьма значительное имущество частных коллекционеров в наших музеях и все время колебались относительно их национализации. Теперь владельцы начинают требовать «своего имущества» назад. Это вещь абсолютно недопустимая. Если мы не колеблясь национализировали древние и редкие инструменты, то тем более достоянием всего народа являются купленные крупной буржуазией и помещиками произведения искусства. Было бы смешно, если бы мы, национализировав огромнейшие коллекции Юсупова и Шереметьева и др., в настоящее время почему-то роздали бы частным коллекционерам отдельные шедевры, как художественно ценные, так и те, которые могут представлять собою валюту. Ввиду этого я распорядился представить для Малого Совета проект закона о национализации всего того имущества частных коллекционеров, которое находилось эти годы под охраной государства. Теперь Наталья Ивановна с величайшим ужасом и изумлением сообщает мне, что хранитель Третьяковской галлереи Грабарь самовольно роздал большую часть этого имущества владельцам. Наталья

Ивановна занята энергичным восстановлением порядка и возвращением вещей, но я прошу Вас очень понаблюдать за этим. Быть может, здесь надо будет пустить в ход более твердую руку, чем та, которой обладает Наталья Ивановна.

Нарком по просвещению А. Луначарский»[1].

В доме Луначарского собирался, если можно так выразиться, весь цвет научной и художественной интеллигенции. От самых сложных научных проблем разговор переходил на обсуждение новых книг и спектаклей, сталкивались самые разнообразные точки зрения. Хозяину и в голову не могло прийти, что он вправе навязывать кому-нибудь свое мнение.

Как-то по поводу одной спорной пьесы дело перешло на коллегию Наркомпроса. Пьеса обсуждалась несколько раз, и каждый раз мне приходилось выступать против точки зрения Анатолия Васильевича. Но этот спор, как и некоторые другие подобные случаи, нисколько не повлиял на наши отношения.

Луначарский не только признавал за своими подчиненными право иметь свою точку зрения, но счел бы величайшей беспринципностью, если бы ради «чести мундира» или в угоду ведомственному самолюбию было принято неправильное решение в ущерб существу дела.

В 1929 году А. В. Луначарский ушел из Наркомпроса. Он продолжал нести большую работу: был председателем Ученого комитета при ЦИК, заседал в Академии наук, выполнял дипломатические поручения,

---

[1] ЦГАОР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 3337, лл. 165—165 об.

много писал. Но в облике его что-то изменилось. Обычно жизнерадостный, веселый, общительный, Анатолий Васильевич стал заметно сдавать физически. Огромная перегрузка сделала свое дело. Сказывалось и длительное сердечное заболевание — грудная жаба, которой он был болен с 1922 года. К тому же он мало отдыхал. Даже в поездках и во время отпуска он всегда работал.

В 1932 году мне сообщили, что Анатолий Васильевич болен, уехал за границу и там ему сделали операцию.

Однажды в феврале 1933 года я услышал звонок, а затем и знакомые голоса в передней. Это были Наталья Александровна и Анатолий Васильевич. Я вышел к ним навстречу, и сердце у меня упало: серый, осунувшийся, с искусственным глазом, совершенно менявшим выражение его лица, стоял передо мной Луначарский.

Летом 1933 года Луначарский был назначен первым полномочным представителем СССР в Испании. В это время он снова находился на лечении за границей. К исполнению обязанностей полпреда ему так и не удалось приступить: он скончался в том же году в Ментоне, на юге Франции.

Труд являлся его жизнью. Поэтому он не умел себя беречь, не умел лечиться, не умел жить без работы: за день до смерти он диктовал свою последнюю статью.

А. В. Луначарский верил в бессмертие, бессмертие особого рода. Он писал: «Те, кто жил в нашей партии, по-настоящему жил в ней, те, конечно, не умирают целиком: лучшее, что у них было, остается бессмертным, бессмертным тем же бессмертием, которым бессмертна партия».

Он верил в бессмертие Ленина и неоднократно говорил о том, что ленинские идеи, будучи бессмертными,

передадут вечно живой образ нашего великого учителя грядущим поколениям.

А. В. Луначарский был непосредственным помощником В. И. Ленина в деле строительства советской социалистической культуры, и имя его всегда будет неразрывно связано с историей нашей партии и Советского государства.

Мне выпало на долю встречать траурный поезд, пришедший из-за границы, и провожать урну с прахом Луначарского до Кремлевской стены.



ВЕЧНЫЙ СВЕТ

— Вечный свет... вечный свет,— бормотал про себя Г. В. Чичерин, выходя вместе с группой делегатов Восьмого Всероссийского съезда Советов из подъезда Большого театра...

— Простите, что вы сказали? — спросил у него какой-то военный работник в красноармейской шинели и шлеме с большой красной звездой.

— Я говорю не об электричестве. Я говорю о свете ленинской мысли,— ответил Георгий Васильевич, ускоряя шаги в сторону «Метрополя», где помещался тогда Наркоминдел.

«Свет ленинской мысли» Георгий Васильевич ощущал на себе каждодневно.

«В тот период,— писал Г. В. Чичерин в своих воспоминаниях о В. И. Ленине,— когда Владимир Ильич принимал активнейшее участие во всех деталях государственной жизни, я в области своей работы находил-

ся с ним в почти непрерывном контакте. В первые годы существования нашей республики я по нескольку раз в день разговаривал с ним по телефону, имея с ним иногда весьма продолжительные телефонные разговоры, кроме частных непосредственных бесед, и нередко обсуждая с ним все детали сколь-нибудь важных текущих дипломатических дел. Сразу схватывая существо каждого вопроса и сразу давая ему самое широкое политическое освещение, Владимир Ильич всегда в своих разговорах делал самый блестящий анализ дипломатического положения, и его советы (нередко он предлагал сразу), самый текст ответа другому правительству могли служить образцами дипломатического искусства и гибкости».

«Чичерин — работник великолепный, добросовестнейший, умный, знающий. Таких людей надо ценить»[1],— писал о Г. В. Чичерине Ленин.

Из всей «ленинской плеяды» руководителей первого в мире рабоче-крестьянского государства Г. В. Чичерин был единственным наркомом, не имевшим семьи и, так сказать, организованного жилища. Сначала он жил в какой-то второстепенной гостинице в Москве, где только ночевал. Точно до сих пор никто не может припомнить, где была эта гостиница. Потом жил в какой-то комнате в строении, примыкавшем к «Метрополю», а потом фактически переехал в свой кабинет и там находился до ухода на пенсию — 21 июля 1930 года. Он не имел личной машины и без колебаний отказался от комнаты, которую отняло у него какое-то учреждение.

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, 5-е изд., т. 50, стр. 111.

Несмотря на то что в период своей деятельности Г. В. Чичерин являлся одним из самых популярных и образованных людей в Европе, трудно было найти человека, который бы вел такой скромный образ жизни, как он. В 1928 году, когда отмечалось десятилетие пребывания Г. В. Чичерина на посту народного комиссара по иностранным делам, он на все приветствия отвечал, что «принципиально не признает юбилеев лиц, а только учреждений».

Лишь в самые последние годы появились о нем книги, составленные на основе архивных материалов, его автобиографии и рассказов родственников и еще живых сотрудников по работе.

И все же биография Г. В. Чичерина настолько удивительна, особенности его характера так своеобразны, а вклад в создание стройной системы внешней политики первого в мире социалистического государства в такой степени велик, что в будущем, вероятно, появится еще немало книг о первом народном комиссаре по иностранным делам Советского государства.

В конце августа 1922 года я в последний раз поднялся по каменным ступеням на крышу дворца «Баги-Шахи». Передо мной, как на ладони, лежал Герат. Этот древний город в Средней Азии был как бы второй столицей Афганистана и стоял на пересечении важнейших караванных путей, соединявших Туркестан, Бухару, Северо-Западный Китай с Индией, Персией и Турцией. Восемь минаретов, построенных Тамерланом, выложенных мозаикой, равной которой нет в мире, пятьсот лет отражают солнце на своей эмалевой поверхности. Рядом с ними, посреди зелени кедров, белеет мрамор ограды, окружающей могилу великого поэта

Джами. От «Баги-Шахи» длинная дорога, прозванная в шутку «Елисейскими полями», ведет к старинной крепости, заключающей в себе базар, дворцы, канцелярии и казармы. Необозримое пространство вокруг испещрено белыми квадратами плоских крыш, утопающих в садах. На фоне синего неба сверкают вершины далеких снежных гор.

Огромное, величественное здание мечети «Джума Масджид», построенное Гиас-уд-Дином, выделяется своими куполами, минаретами и арками. Все ее галереи покрыты изумительными глазурованными плитками зеленых и голубых цветов с арабскими надписями. В центральной галерее находится гигантский бронзовый котел, сделанный в эпоху Тимура. Здесь в правление Шахруха (1405—1447) и после него, при султане Байкара (1469—1506), помещалась академия книгоиздания, каллиграфии и искусства миниатюры, руководителем которой был великий художник-миниатюрист Бехзад. Если взглянуть на север, то в роще гигантских сосен, как бы охраняемая ими, находится «Газаргах Шариф» — усыпальница знаменитого богослова и философа Хазрата Ходжи Абдулы Ансари. Гигантское прямоугольное здание с высокой аркой отделано внутри сверху донизу редкими по красоте глазурованными плитками с рисунками сложных орнаментов и цветов в стиле «хафтакалям». Эти рисунки создавали китайские, арабские и персидские художники. Наконец, виднеется еще одно куполообразное здание, облицованное снаружи плитками бирюзового цвета и белым мрамором, с высеченными надписями из Корана. Это гробница Гохар Шад Аги — легендарной красавицы, жены султана Шахруха.

Самое здание дворца «Баги-Шахи» отделено от окружающего мира высокой крепостной стеной и густой зеленью парка. Когда-то Джами пел здесь свои стихи, восхищая посла Венецианской республики Амвросия Контарини, направлявшегося в Тебриз к персидскому государю Узун-Гассану Белобаранному...

Я сошел вниз. Во дворе я увидел секретаря генконсульства Льва Никулина и других товарищей, тоже собравшихся в путь. Все мы — состав генерального консульства РСФСР — возвращались на родину, где нас ожидали другие назначения. Незадолго до этого отправились в путь и товарищи из полномочного представительства в Кабуле.

Мы работали здесь в то сложное время, когда молодая Советская Россия и Афганистан, только что завоевавший независимость, установили между собой дипломатические отношения. Эти отношения принимали все более дружественный характер и теперь вступили в новую фазу. Договор 1921 года должен был способствовать широкому развитию политических, экономических и культурных связей между двумя народами. И поэтому предстояла работа, несколько отличная от той, которой занимались мы, приехавшие сюда, как говорится, на пустое место. Период становления кончился, возникли новые задачи, и они требовали новых людей, иного опыта.

Двор, где проходили сборы, был заполнен лошадьми, на которых грузили яхтаны и поклажу. Красноармейцы подтягивали подпруги, выравнивали стремена, проверяли оружие. В последний раз риссальдар Худабаш-хан подал команду. Забил барабан, заиграли трубы, афганские солдаты взяли «на караул».

Мы сели на коней и выехали за ворота. Верные наши кони, как мы привыкли к ним за время пребывания в Афганистане! Ведь мы жили отрезанными от всего мира, и лошади были единственным средством связи с Кушкой, Кабулом и Мешедом. На них доставлялась дипломатическая почта, перевозились раненые и больные. Верхом, как того требовал обычай, мы ездили в город, к наместнику в гости и на официальные церемонии.

Большая гражданская война кончилась, но малая продолжалась у этих границ с неослабевающей силой. В Восточной Бухаре после гибели Энвер-паши англичане нашли ему преемника. Новым «главнокомандующим войсками ислама» объявил себя Селим-паша. Вооруженные джемшиды конными массами пересекали границу. Шайки басмачей бродили по Фергане. В Кабуле жил бывший эмир бухарский Алим-Сеид-Тюря-Джан, мечтавший о возвращении на престол. Из Кашгара английский агент Эссэртон, бывший царский консул Успенский и генерал Муханов переправляли через Памир и другими путями целые транспорты оружия в Бухару, Хиву и Фергану.

И наши воинские части, и их противники передвигались только на лошадях. Достоинства лошади — ее характер и ум, выносливость, боевой дух, быстрота — решали судьбу бойца или всадника, который вез секретную почту. Мы давно забыли, что такое автомобиль, поезд, дрезина, электричество, женщины с открытыми лицами, вкус свинины или спиртные напитки,— все это стало для нас отвлеченными понятиями.

...Мы выехали за ворота. Перед «Баги-Шахи» выстроились оркестр и кавалерийский эскадрон. Пестрый

караван вьючных лошадей, на которых были погружены чайхана, кухня, палатки, должен был сопровождать нас до границы. Мы проехали «Елисейские поля» — длинную дорогу, ведущую от «Баги-Шахи» к крепости, где помещался дворец наместника. Вот и крепость с ее древними стенами и рвом. Огромные деревянные, обитые железом ворота, у которых стоят двое часовых в желтой, английского типа форме и круглых шапках с гербом.

Дорога становится все уже, круто спускаясь к ложбине бурной реки. Лошадь подо мной осторожно перебирает ногами и вздрагивает, когда мелкие камни катятся вниз.

Караван вытянулся в длинную цепочку. Теперь он двигается по узкому берегу реки, которая с грохотом, в пене летит вперед, как будто перескакивая через камни. Высокие горы поднимаются над ними. На противоположном берегу среди скал показались три всадника в чалмах и темно-синих куртках, перекрещенных пулеметными лентами, с карабинами за спиной. Позади виден четвертый, с треугольным значком пламени на древке. Всадники медленно снимают карабины. Слышится гортанная команда — солдаты все, как один, берут винтовки на руку и щелкают затворами. Погонщики соскакивают и хватают вьючных лошадей за узду. Но никто ни в кого не стреляет. Лошади вырываются из ущелья на широкую дорогу, а вслед за ними спешат остальные.

К вечеру мы прибыли в Чильдухтаран. Открылись ворота рабата, окруженного высокой глинобитной стеной, появился афганский караул, заиграла труба, рассыпалась барабанная дробь. Во дворе вокруг костров

сидели люди, стояли вьючные лошади, верблюды. Под навесами работали кухня и чайхана. По всему двору бегали слуги в белых штанах, туфлях с загнутыми носами и чалмах, концы которых развевались по воздуху. Приезжим разносили шашлык, плов и пиалы с чаем.

После ужина мы вышли во двор. Среди большой толпы паломников, направлявшихся в Мекку, играл оркестр бродячих музыкантов, танцевал «бача» мальчик с завитыми волосами, подкрашенными глазами, одетый в женское платье.

Комары тучами вились вокруг костров, осаждая людей. Накомарники и перчатки не спасали, комары пробирались за ворот, влезали в рукава, жалили сквозь тонкую материю, из которой была сшита одежда.

В Герате, в генеральном консульстве, принимались строгие меры по борьбе с малярией. Все спали под специальными сетками, которые натягивались на рамы, прикрепленные к кроватям. Как только жара спадала, закрывали окна и двери. Прислуга должна была следить, чтобы комары не проникали в здание. Сотрудники в профилактических целях систематически принимали хинин, акрихин и плазмоцид. Наши врачи очень хорошо изучили «плазмодия фальципарум» — свирепого комара, распространителя тропической малярии. Эта болезнь с ее тифозной, дизентерийной, легочной и коматозной формами часто протекала так бурно, что больной умирал в первые же сутки.

Но в тот вечер в Чильдухтаране, несмотря на обилие комаров, мы не думали обо всех этих неприятных вещах.

Удивительные афганские ночи! Темное небо кажет-

ся особенно низким, огромные звезды сияют на нем ярко, воздух свеж и легок, а запах цветов и растений пьянит, как вино. Далеко в ночной тишине раздаются нежные звуки тары и одинокий голос певца.

Я прислушиваюсь к словам. Почти тысячу лет назад Омар Хайям написал эти строки:

> Мой друг, о завтрашнем заботиться не след:
> Будь рад, что нынче нам сияет солнца свет.
> Ведь завтра мы навек уйдем и вмиг нагоним тех,
> Которые до нас ушли за восемь тысяч лет.

Много веков фаталистическая покорность судьбе воспевалась поэтами и проповедовалась муллами. Она помогала колонизаторам овладеть Востоком. Теперь от нее не осталось и следа, разве что только в песнях...

На другой день мы приехали в Кушку. Странно было видеть на улицах молодых женщин в коротких платьях и с открытыми лицами, усаживаться в настоящий автомобиль, слышать паровозные свистки и отдаленный грохот уходящего на север поезда. Живые поросята — совершенно невиданные в Афганистане животные,— весело хрюкая, бежали за свиньей в подворотню. Но еще более удивительной казалась окружающая жизнь. Приближаясь к Ташкенту, мы все больше погружались в обстановку нэпа, который в Туркестане расцвел в самых экзотических формах. Торговали все — русские, узбеки, таджики, туркмены, бухарцы, торговали чем попало и где попало. На станциях, в степи и в маленьких городах на каждом углу торчали шашлычные, чайханы, закусочные, увеселительные заведения. Двери их были открыты, и оттуда доносились звуки музыки и пряные запахи восточных блюд.

В Ташкент мы прибыли вечером и остановились в

гостинице «Регина». В соседнем ресторане пели скрипки, на улице весело звенели голоса прохожих, рысаки, храпя и роняя пену, с громом катили извозчичьи коляски.

Я чувствовал себя физически плохо, а утром мне стало совсем скверно, и я уже не мог встать. То, чего в течение почти двух лет мне удавалось избежать в Афганистане, случилось при выезде из страны — в Чильдухтаране мы заразились тропической малярией.

Трудно описать, что испытывает человек, когда ему вливают хинный раствор в вену. Сначала нарастает шум в ушах, похожий на звон колокольчиков, потом какой-то молот начинает ударять в виски, в глазах мелькают искры, все кружится. Наконец, появляется ощущение, будто кровь закипает, как расплавленный металл. И так до тех пор, пока не теряешь сознание... Прошло почти полвека, а я еще не забыл этих мучений.

Через две недели я подъезжал к Москве. Я был черен от загара, слаб, приступы малярии повторялись через каждые три-четыре дня.

В первое же мое посещение Наркоминдела маленький, подвижной Б. И. Канторович сообщил мне, что товарищ Чичерин несколько раз спрашивал, прибыл ли я. М. М. Славуцкий предупредил меня, что я должен быть готов явиться к наркому в любой момент по телефонному звонку. Впрочем, добавил он, Георгий Васильевич работает ночью, так что вызов, вероятнее всего, будет после одиннадцати-двенадцати часов.

Однажды Владимир Ильич Ленин, узнав, что Чи-

черин устраивает ночные заседания, которые продолжаются до четырех-пяти часов утра, послал к нему наркомздрава Н. А. Семашко.

Семашко приехал к Георгию Васильевичу и начал доказывать, что работать нужно днем, а ночью спать.

Внимательно его выслушав, Чичерин с ним не согласился.

Семашко не смог убедить Чичерина. Он доложил об этом разговоре Владимиру Ильичу.

Через несколько дней было вынесено постановление ЦК: запретить Г. В. Чичерину устраивать заседания коллегии после часа ночи.

Получив постановление, Георгий Васильевич подчеркнул красным карандашом слова: «заседания коллегии», как бы давая понять, что к нему лично постановление не относится.

Я ходил по улицам, смотрел и думал: откуда вылезли эти раскормленные дамы и жгучие брюнеты, крикливо одетые, которые на всех углах торгуют товарами и любой валютой?

Как обычно перед приступами малярии, стучало в висках, билось сердце, нарастало какое-то внутреннее раздражение.

Я был одет в английский дорожный костюм и сапоги с пряжками — в Герате трудно было достать обычную европейскую одежду. Да кроме того, в дороге и для езды верхом такая удобнее.

На углу Столешникова переулка ко мне подбежал высокий, полный, выхоленный мужчина в модном пальто и шляпе, сдвинутой на затылок.

— Покупаю английские фунты на червонцы...

Я ускорил шаг. Он не отставал.

— Не хотите червонцев, можно на золотые десятки. Я куплю сто, пятьсот, тысячу фунтов...

Наконец решив, что я не понимаю по-русски, он повторил свое предложение по-английски.

Я посмотрел на него и увидел трупы красноармейцев, изрезанных дроздовцами на куски под Сумами, Бобровицкого, умиравшего в камере Минской тюрьмы, Ясикевича, лежавшего на нарах в «Повонзках» и харкавшего кровью, наших пленных, впряженных вместо лошадей в фуру и возивших камни в лагере Дембью, Юлусова, захороненного на афганской земле. В молодости я был сильным человеком и страдал иногда приступами бешеного гнева. Я вдруг схватил этого толстяка за галстук, повторяя довольно бессмысленную фразу:

— Так тебе нужны английские фунты, обязательно английские фунты...

Прохожие остановились. Появился милиционер.

— Ваши документы?

Я вручил ему красную книжку с золотым гербом. Он начал читать вслух...

— ...«Объявляется всем и каждому о том...»

Потом вытянулся, отдал честь и сказал:

— Покупка и продажа валюты по закону разрешаются...

Я почувствовал слабость, тоску, безразличие...

В гостинице «Княжий двор» было тихо. В маленьком ресторане седые официанты, шепотом разговаривая между собой, бесшумно накрывали столы к обеду. По коридору, скрипя ботинками, важно прошел высокий пожилой немец в тугом накрахмаленном воротничке и черном галстуке.

Поздно вечером позвонил Канторович: Георгий Васильевич ждет к одиннадцати часам...

В комнате не было никого, кроме Канторовича, который перебирал бумаги и, когда звонил телефон, разговаривал, прикрыв трубку рукой.

На его столе вспыхнула лампочка, и он исчез за высокой двойной дверью. Через минуту вернулся:

— Вас.

Большая ярко освещенная комната напоминала то ли библиотеку, то ли кабинет архивариуса или ученого. Огромный письменный стол был завален бумагами, газетами на всех языках, книгами и папками. Книги валялись на креслах и на диване, громоздились в шкафах. Передо мной стоял человек, закутанный шарфом, среднего роста, с маленькими пронзительными карими глазами, бородкой и усами, и смотрел на меня поверх очков. Тонким голосом он сказал, указывая на кресло:

— Садитесь.

Некоторое время он продолжал меня осматривать поверх очков, потом закрыл глаза, открыл их и заговорил:

— Советская внешняя политика должна рассматривать мировые события в их перспективе. Вы видели, с каким мужеством афганский народ боролся за свою независимость и завоевал ее. Теперь национально-освободительное движение охватило Турцию. Союзники — Англия, Франция, Америка, Греция — заставили султана подписать Мудросское перемирие. Фактически они разделили Турцию между собой и оккупировали Константинополь. Кемаль-паша сражается с войсками султана и Антанты, стремясь восстано-

вить независимость Турции. Мы сочувствуем турецкому народу. Мы помогаем ему деньгами и другими средствами. Греческий флот вошел в Самсунский порт и обстрелял город, а заодно и наше консульство. В Трапезунде и Самсуне стоят американские контрминоносцы. Вы поедете в восточные провинции Турции — в Карс — для осуществления Карского договора. В Карсе, Эрзеруме, Сарыкамыше, Битлисе, Ване находится много пушек, снарядов и другого военного имущества, оставленного русской армией после мировой войны. Вы примете меры, чтобы все это через Батум и Самсун могло быть переправлено в Ангору, Кемаль-паше. В Сарыкамыше находится Кязим Карабекир-паша, свяжитесь с ним.

Чичерин встал, прошелся по кабинету, и его карие, птичьи глаза приняли стальной оттенок. Он круто повернулся и остановился передо мной:

— Как вы думаете, что такое советский дипломат?

— Это коммунист, которому поручено защищать честь, достоинство и интересы Советского государства.

Георгий Васильевич посмотрел на меня и заговорил каким-то особенно звонким голосом:

— На Востоке это прежде всего друг угнетенных народов. Национальное освобождение народов Востока не ограничится одной Турцией. Пройдут годы, может быть, десятилетия, и оно охватит народы Азии и Африки. Это неизбежно. Вся наша политика на Востоке должна исходить из этого основного положения...

Потом, как бы раздумывая, он добавил:

— Это не исключает, конечно, того, что в течение определенного исторического отрезка времени в той

или иной стране капиталистические державы могут еще ставить у власти нужных им людей. Даже в самой Турции, среди национальной буржуазии, особенно в портовых городах, и среди деятелей, окружающих Кемаль-пашу, имеются люди западной ориентации, которым курс Кемаль-паши не нравится. Возьмите такие фигуры, как Кязим Карабекир-паша, Бекир, Сами-бей, Реуф-бей, Рефет-паша, Аднан-бей. Сейчас, когда на фронте у Кемаль-паши длительное затишье и обе стороны готовятся к решительной схватке, интриги англо-французов могут дать самые неожиданные результаты. Это, однако, не меняет основного положения: мы будем верными друзьями Турции в ее справедливой борьбе за национальную независимость. Вы познакомились со всеми материалами?

Я ответил, что не получал такого приказания.

— Указания будут даны. Старайтесь изучать первоисточники. Для этого, конечно, нужно знать языки...

Он задумался.

— Вот меня сейчас интересует проблема Палестины. Приходится изучать древнееврейский язык. Я уже читаю на нем довольно свободно. Кстати, вы получили классическое образование?

— Да, я учился в классической гимназии.

— Гм... А кого вы предпочитаете из римских поэтов?

— Публия Овидия Назона.

Он наклонил голову несколько вбок, и круглый глаз его блеснул, как у птицы...

— Гм... Действительно, в «хорум поэтарум» первого десятилетия нашей эры он считался королем. Участь Овидия Назона была печальна. Из-за интриг

он был объявлен «обсцени доктор адультерии» и сослан Октавианом Августом в Добруджу. Вы помните эпитафию, написанную им самому себе?

И он прочитал нараспев и несколько картавя:

Здесь почиет Овидий, нежной
Страсти певец печальный.
Здесь несчастный страдалец
Забыт — погубил его собственный дар.
Путник! Если ты в жизни
Своей хоть однажды изведал любовь,
Не колеблясь, скажи: «О Назон!
Пусть останки твои мирно спят».

Он встал. Я откланялся. Провожая меня, на пороге он повторил:

— Основное — это то, что мы хотим иметь дружественную, сильную и независимую Турцию. Нам не нужны никакие территориальные приобретения или экономические выгоды. Мы несем большие жертвы, чтобы помочь Кемаль-паше в его справедливой борьбе. Ни с одним государством, даже с Германией — своим основным противником, Англия, Франция и Америка не поступили так жестоко, как с Турцией: они захватили Константинополь, расчленили страну на части, фактически превратили ее в колонию. Турецкий народ может теперь убедиться, что Советский Союз — его единственный друг в беде.

У Георгия Васильевича было много странностей. Он был замкнут, чрезвычайно не любил публичных выступлений, всякого рода банкетов и торжественных церемоний. И не потому, что терялся в так называемом «светском обществе». Он не любил суеты и внешнего блеска. Член партии с 1905 года, он по безукориз-

ненному знанию множества языков и, можно сказать, сверхъестественной культуре был фигурой совершенно необычайной.

Иногда он набело писал какой-нибудь документ по-русски и тут же переводил его на английский, немецкий и французский. Однажды, возвращаясь из Европы, Чичерин на короткое время посетил Литву и Латвию. В Риге в «Доме Черноголовых» ему был устроен торжественный прием. К удивлению присутствующих, ответную речь Чичерин произнес на прекрасном латвийском языке. Чичерин обладал «фотографической» памятью. Другими словами, он не только раз навсегда запоминал прочитанное, но и знал, где находится данный материал. Поэтому его кабинет, заваленный книгами, газетами, папками и бумагами, только внешне производил впечатление беспорядка. На самом деле в этом внешнем беспорядке имелся свой раз навсегда заведенный строгий порядок.

«Несмотря на кажущийся беспорядок в рабочей комнате, здесь каждая папка, бумага имела свое место, дела в шкафах Георгий Васильевич раскладывал по своей системе, каждое интересное сообщение прятал в специальную папку, и если кто-нибудь из личных секретарей заводил новое дело, то он был обязан доложить об этом наркому и показать папку, чтобы он запомнил ее внешний вид. Газеты тоже не «валялись» где попало, как иногда пишут в воспоминаниях о нем: для прочитанных, но необработанных было место на диване, для непрочитанных — на столе. Ни одна мелочь не ускользала от его внимания» [1].

---

[1] Из воспоминаний Б. И. Короткина.

Сам он безошибочно и быстро мог найти нужную ему бумагу или книгу.

Особенно точен и внимателен был Г. В. Чичерин в своих взаимоотношениях с людьми. Его бывший секретарь Б. И. Короткин вспоминает:

«Чичерин являлся образцом исключительной аккуратности и точности во времени. Эта аккуратность и точность у Георгия Васильевича носила характер исключительной педантичности. Составляя график своего рабочего дня на 3—5—7 дней вперед, он назначал время для приемов таким образом: одному в 11 часов, следующему в 11 часов 10 минут, третьему вдруг в 11 часов 18 минут и т. д., и этот график почти никогда не нарушался. Но если по вине кого-нибудь из работников или гостей нарушение точности во времени имело место, то это приводило прямо к драматическим результатам».

Однажды, узнав, что секретари не докладывают ему о частных письмах, в большинстве которых содержались просьбы о визах (такие письма направлялись в консульский отдел), Чичерин возмутился:

— Я уверен, что не на все, а скорее всего ни на одно такое письмо вы не отвечаете, а между тем у каждого порядочного министра иностранных дел есть своя канцелярия, на обязанности которой лежат ответы на запросы частных лиц. Тогда это получается и тактично и аккуратно!

Еще более он был разгневан, когда весной 1921 года кто-то решил усилить и без того суровую охрану здания Наркоминдела и ограничить поток посетителей, идущих к наркому.

Он тотчас же написал распоряжение, которое оста-

валось в силе в течение всего пребывания Г. В. Чичерина на посту наркома:

«Относительно многих посетителей, желающих прийти в мою канцелярию, можно выяснить, кто они и законно ли их желание к нам обратиться, только после непосредственного разговора с ними кого-либо из секретарей. Я ни в коем случае не могу поручить не связанному со мною бюро пропусков воспрещение доступа ко мне или в мою канцелярию. Только мои секретари, действующие в непосредственном контакте со мной, могут решить в положительном или отрицательном смысле вопрос о допущении какого-либо пришедшего к нам лица. Допущение посетителей должно поэтому быть чрезвычайно либеральным, и строгий разбор должен быть применен только у входа во внутреннее помещение занимаемой моей канцелярией квартиры».

Особенно он сердился, если к нему не допускали молодых сотрудников Наркоминдела. Практически в первые годы работы Наркоминдела он всех сотрудников подбирал сам, следил за тем, как они работают, воспитывал их и учил и особенное значение придавал повышению общего уровня их культуры. Он считал наркоминдельскую работу «партийной работой» и запрещал отрывать людей для разного рода агитационных кампаний от основной деятельности. Я мог бы назвать буквально десятки видных впоследствии дипломатов, которым в тот период было не более двадцати лет. Да и человек, которого он больше всего любил и которому доверял наркомат в свое отсутствие, Л. М. Карахан, сам был тридцатилетним.

Как я уже писал, Г. В. Чичерин вел необыкновен-

но скромный образ жизни, даже по тем аскетическим временам, которые определяются у нас как период военного коммунизма.

Его зарплата была невелика. Из этой суммы он старался, что возможно, уделить семье брата. Свой паек Чичерин делил с семьей старого питерского рабочего Баумана, которая приехала в Москву вместе с ним.

Одно время номер Чичерина в «Метрополе» находился против номера, в котором жила семья Карахана. Георгий Васильевич иногда ночью осторожно стучал в дверь, поднимая Карахана и его жену с постели. Многократно извиняясь, очень смущенно он садился пить чай. Обычно это был чай без сахара и даже без хлеба. Но когда в семье бывали и сахар, и хлеб, и масло, то Чичерин не решался брать бутерброд, если только сама жена Карахана не настаивала на этом.

С Георгием Васильевичем я беседовал впервые, приехав из Афганистана летом 1922 года, когда Москва уже не испытывала никаких продовольственных затруднений.

Находясь в Афганистане, который тогда являлся, если можно так выразиться, страной натурального хозяйства, где продовольствие было в изобилии, сотрудники Генерального консульства в Герате отчисляли часть своей заработной платы в особый фонд и на эти деньги закупали муку и посылали в Москву для распределения голодающим Поволжья. Насколько мне помнится, мы отправили тогда два каравана с мукой в Кушку.

Разговаривая с Георгием Васильевичем в разгар нэпа, а до этого со многими сотрудниками комисса-

риата, я и не подозревал, как голодал Г. В. Чичерин и какое тяжелое продовольственное положение было раньше в Наркоминделе.

Узнал я об этом много лет спустя из записок моего друга, известного писателя Анатолия Глебовича Глебова (Котельникова), который работал в те годы в секретариате Г. В. Чичерина, затем находился короткое время в полпредстве в одной из Прибалтийских республик, снова вернулся в секретариат наркома, а потом приехал в Турцию в составе миссии С. И. Аралова.

И вот что он рассказывал:

«В августе 1921 года я, работая в одной из прибалтийских столиц, получил от Чичерина записку, предельно взволновавшую меня и всех, кому я ее показал. По почерку видно было, что писал он ее тоже в состоянии острой взволнованности. Об этом говорили недописанные окончания слов, неразборчивость их. Записка была такая: «Уважаемый товарищ, мы сняты с довольствия, кругом валятся с голоду, половина машинисток больны, многие бегут, работа останавливается, накопляются ненаписанные бумаги, несделанные дела, нерасшифрованные шифровки, я не могу один работать за 1000 человек, дело гибнет. С к. пр. Георгий Чичерин». Мы немедленно сложились и отправили секретариату НКИД большую продовольственную посылку, связавшись по этому поводу с соседними полпредствами, чтобы и они оказали помощь. Через десять дней Чичерин сообщил, что посылка получена, и благодарил пославших. Но и в этом письме писал об очень тяжелом продовольственном положении наркомата, упоминая о «раздирающих сценах в местко-

ме», о том, что в канцелярии только что сотрудница упала в обморок от голода, и т. п.

С осени я снова работал у Чичерина в Москве в прежней должности. После летних событий между нами установились менее официальные отношения, чем были до этого. Не раз в свободные ночные минуты мы беседовали о литературе, преимущественно античной, и о музыке. Чичерин был настолько эрудирован в этих вопросах, что выступал по ним в печати.

В деловом отношении он приучал меня к абсолютной точности.

Раз вечером, точно в назначенное время, я принес ему затребованные им материалы в его огромный кабинет, больше похожий на кабинет академика, чем кабинет министра иностранных дел. Посередине — массивный стол, заваленный книгами, папками и газетами. Вдоль стен — книжные шкафы и синие мягкие кресла, беспорядочно обремененные тем же грузом. В дальнем левом углу — столик с маленькой лампочкой под синим абажуром и телефонами: городским, внутренним и кремлевским («вертушкой»). Когда я постучал, мне показалось, что Чичерин ответил: «Войдите!» Но я ошибся. Это он говорил по телефону, громко и взволнованно, сидя в своем обычном домашнем виде — в одной жилетке, с рыжим шарфом на шее — и в обычной позе — на самом краешке стула, сильно подавшись вперед, уперев локоть руки с трубкой в колено, положенное на другое. Весь он был какой-то взъерошенный, взбудораженный. Лицо в красных пятнах, взгляд близоруких, навыкате, карих глаз без очков скользнул по мне и не заметил меня. Разговор шел о манной крупе.

— Нет, Владимир Ильич, нет! Я вас прошу меня не принуждать! Категорически вас прошу! — Он картавил так же, как Ленин.— Истратить на себя целый килограмм манной крупы в порядке привилегии — нет, этого я себе не могу позволить. Это противоречит моим убеждениям! Владимир Ильич, катар желудка не у меня одного. Грудные дети сидят без манной крупы. Нет, нет! И не уговаривайте. Вы знаете положение не хуже, а лучше меня!..

Я тихо вышел, так и не замеченный им, положив принесенную папку на стол. Чем кончился спор о крупе, не знаю. Вероятно, Ленин сумел настоять на своем.

Таковы были люди. Таков был год».

Прочитав эти строки, я испытал чувство горечи при мысли о том, что мы, находясь в Герате, полностью всем обеспеченные, не сделали ничего, чтобы помочь своим товарищам в наркомате.

Причиной этому была наша почти полная оторванность от внешнего мира. Из Кушки в Кабул дипкурьер ехал верхом по горным дорогам тридцать пять дней. Других средств сообщения тогда не было. У нас не было ни телеграфной, ни радиосвязи, в отличие от Кабула. И мы просто не знали, в каких условиях работают наши товарищи в Москве.

Эрудиция Чичерина была настолько всеобъемлющая, что посылать ему какой-нибудь материал, если он не подготовлен самым тщательным образом, являлось делом крайне рискованным. В Наркоминделе это все знали, но товарищи, не имевшие к нему отношение, иногда попадали в неловкое положение.

Известно, что, начиная с детских лет, любимым чтением Георгия Васильевича было изучение энциклопедий и различных справочников. Вот что пишут С. Зарницкий и А. Сергеев: «Весной 1926 года вышел в свет первый том Большой Советской Энциклопедии. Редактор издания О. Ю. Шмидт прислал этот том Чичерину. Чтение такой, казалось бы, не особенно занимательной книги доставило наркому истинное удовольствие, он прочитал ее от начала до конца.

«Позволю себе,— писал он Шмидту,— обратить Ваше внимание на то, что энциклопедии существуют для наведения справок, справки же бывают нужны независимо от монархического или республиканского характера упоминаемых действующих лиц. Если я занят какой-нибудь работой или мне нужно навести справку относительно какого-нибудь римского императора, то энциклопедия меня не удовлетворит, если я этого римского императора в ней не найду. У Вас, например, отсутствует император Аврелиан, сыгравший, однако, довольно видную роль в период борьбы императорской власти против преторианцев. Под «Аббасом» у Вас упомянуты только Аббасиды и совершенно не упомянуты персидские шахи того же имени, а также не упомянут хедив Аббас Хильми. Дальше у Вас пропущен, например, Адли-паша, сыгравший чрезвычайно видную роль в последнем периоде истории Египта. Не упомянуты адамиты, сыгравшие видную роль в период отпочкования крайних левых течений от гуситов. Из спартанских царей Агисов упомянут только Агис IV. Между тем некоторые его предшественники того же имени играли роль во время персидских войн и Пелопоннесской войны.

В самом тексте нужно избегать гипербол, производящих несерьезное впечатление. «Житие протопопа Аввакума» написано чрезвычайно живо, но совершенно недопустимо называть его одним из шедевров мировой литературы. Если Вы ясно помните текст этого жития, Вы поймете, что такая квалификация просто чудовищна».

Для того чтобы понять некоторые черты характера Георгия Васильевича, следует хотя бы вкратце остановиться на его биографии.

У Г. В. Чичерина была редкая для большевика биография. Он происходил из традиционно-либеральной, старинной дворянской семьи. Отец его был дипломатом. Чичерин воспитывался в замкнутой аристократической среде и с детства увлекался историческими книгами. В частности, он чрезвычайно любил читать и перечитывать хранившиеся у матери дипломатические документы и мирные трактаты. Он играл с гувернанткой в игру, которую сам придумал: оба брали одинаковое число мячиков, бросали их на пол и стремились подобрать их. Кто подберет больше, считался выигравшим большое или малое сражение. На столе лежал открытый атлас, причем игроки изображали собой два определенных государства, после каждого сражения на карте отмечалось, куда передвинулись армии воюющих стран, пока одна не доходила до столицы другой; тогда Чичерин садился писать по всем правилам мирный трактат с уступкой победителю нескольких провинций. Лишенный естественной среды, мучительно оторванный от жизни, семи-восьмилетний Чичерин проводил часы за часами у своего столика, читая исторические книги или оставшиеся у матери

документы прошлого, составляя по энциклопедическим словарям списки византийских императоров или римских пап.

Переехав в Петербург и поступив там на историко-филологический факультет, Чичерин продолжал жить в замкнутой среде дворянских семейств, наследственно связанных с дипломатической службой.

Однако когда он столкнулся с реальной жизнью, то стал переживать острые внутренние мучения. Он писал в своей автобиографии: «Ужасы жизни городской бедноты произвели на меня подавляющие впечатления».

Чичерин чувствовал отвращение к царизму и к созданному им строю угнетения народных масс.

Закончив в 1896 году свое образование, он, к «ужасу высокопоставленных родственников», отказался от очень выгодных дипломатических назначений и поступил в архив министерства иностранных дел, «желая быть подальше от практической деятельности государственного аппарата царизма». Начальником его оказался известный специалист по истории международных отношений Н. П. Павлов-Сильванский, с которым Чичерин сблизился. Так как уже в то время Чичерин считался удивительным по своей эрудиции человеком, то ему поручили написать «Историю Российского министерства иностранных дел» со времени основания Посольского приказа. Для этого он детально изучил всю историю внешней политики России. Особенно его интересовала фигура канцлера А. М. Горчакова, которого он считал наиболее талантливым царским дипломатом. Одновременно с очерком, посвященным внешней политике России в период царствования Александра II,

Г. В. Чичерин написал блестящую монографию о канцлере А. М. Горчакове (1798—1883), который, как известно, добился в 1871 году на Лондонском конгрессе отмены статей Парижского трактата (1856 г.), ограничивших права России на Черном море. В то же время Чичерин устанавливал связи с революционными социал-демократическими кругами. Выполняя ряд поручений, он чуть было не попал под арест, но министерство внутренних дел поначалу не хотело верить, что человек такого происхождения и положения может быть связан с революционными кругами. Воспользовавшись этим и избежав ареста, Чичерин уехал за границу. В течение некоторого времени ему удавалось пересылать через аппарат министерства иностранных дел революционную литературу из-за границы.

Однако вскоре Н. П. Павлов-Сильванский сообщил Чичерину, что охранке удалось раскрыть его деятельность и псевдоним — Орнатский, которым он подписывал свои статьи, что на него обращено особое внимание правительства и по возвращении в Россию он будет немедленно арестован. В 1905 году Чичерин вступил в РСДРП.

Незадолго до отъезда Георгия Васильевича за границу в Москве скончался его дядя, знаменитый глава московских либералов, профессор Московского университета Борис Николаевич Чичерин. Б. Н. Чичерин, профессор государственного права, почетный член Московского университета, московский городской голова, пользовался огромной популярностью. Его похороны превратились в грандиозную демонстрацию, в которой участвовали вся московская интеллигенция, студенчество и либеральная часть дворянства. Тело

усопшего перевезли из Москвы в родовое поместье Караул[1]. Борис Николаевич Чичерин был одним из богатейших людей России. Все свое состояние он оставил Георгию Васильевичу Чичерину, который одновременно со своим братом Николаем владел и имением в Уфимской губернии. После смерти дяди Георгий Васильевич стал одним из богатейших людей в России — владельцем родовых поместий и огромного состояния. Однако, вступив в партию, Чичерин с фанатическим упорством, приводившим в изумление большинство эмигрантов, ограничил себя тем образом жизни, который ведут рядовые рабочие. Он жил в самых скромных пансионатах, носил дешевые костюмы, не употреблял напитков, не курил. Значительные суммы он отдавал партии, всегда оказывал помощь всем, кто к нему обращался, задумал даже создать санаторий для рабочих-революционеров, эмигрировавших из России. Деньги эти попали к одному недобросовестному человеку,

---

[1] В имении Караул было 1578 десятин 862 сажени удобной земли и неудобной 132 десятины 324 сажени земли. Библиотека насчитывала свыше 4 тысяч книг на русском, английском, французском, итальянском и немецком языках. Более всего книг было по философии, истории, истории дипломатии, праву, а также классическая и справочная литература. Более 25 известных картин — среди них Паоло Веронезе «Аполлон и Марс», «Мужской портрет» Тропинина, пейзажи Ф. Васильева. Гравюры: Тициана, А. Дюрера, Рембрандта, Сальватора Розы, Клода Лоррена, Рейсдаля, Ван Гойена и др. Уже тогда, получив наследство, Г. В. Чичерин писал: «Хорошо было бы все это передать народу». Но в условиях самодержавия сделать это было практически невозможно. Впоследствии все ценности были переданы музеям.

Ныне в связи с исполняющимся столетием со дня рождения Г. В. Чичерина в с. Караул создается мемориальный музей.

взявшемуся за это дело, и пришлось в течение многих лет добиваться их возвращения. Чичерин даже не всегда знал, сколько у него денег и где они. Например, уже в 1928 году, когда он был очень болен и ему рекомендовали больше жить на даче, на его имя через Госбанк были переведены пять тысяч долларов из-за границы после реализации каких-то ценных бумаг, принадлежавших Чичерину со времен эмиграции. Кто-то посоветовал ему на эти средства приобрести дачу. Чичерин возмутился: не для того же он отказался от всякой собственности, чтобы приобретать какую-нибудь собственность. Деньги он велел передать государству. Чичерин всегда относился к состоянию своего здоровья с величайшим пренебрежением, работал до изнеможения, пока наконец не выдерживал, валился с ног и его приходилось отправлять в больницу или санаторий. Еще в 1920 году В. И. Ленин писал Е. Д. Стасовой: «Чичерин болен, ухода за ним нет, лечиться не хочет, убивает себя.

Необходимо от ЦК написать ему *любезное* (чтобы не обидеть) письмо с *постановлением* Цека, что Цека требует казенного имущества не расхищать, лучшего доктора (через Карахана хотя бы) вызвать, его *слушаться*, в случае совета доктора отпуск взять и *в санатории пробыть необходимое* время» [1].

В эмиграции кроме В. И. Ленина большое влияние оказывал на Чичерина Карл Либкнехт, с которым у него возникла личная дружба. Из Парижа, где он постоян-

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, 5-е изд., т. 51, стр. 173.

но жил, Чичерин переехал в Лондон. В Лондоне Георгий Васильевич поселился на Ооклей-сквер, в доме № 12 на четвертом этаже в маленькой мансардной комнате, где и прожил свыше трех лет. Единственное окно выходило на закопченные лондонские крыши. В комнате было сыро и неуютно. В Лондоне у него создались близкие связи с левым крылом Британской социал-демократической партии. После Февральской революции Чичерин, бывший тогда секретарем Лондонской организации большевиков и руководивший отправкой их в Россию, вступил в борьбу с представителями Временного правительства. Английское правительство арестовало Чичерина и заключило в Брикстонскую тюрьму. Тогда Советское правительство задержало английского посла в России Д. Бьюкенена и в 1918 году обменяло его на Чичерина.

После бездарного и тупого царского министра иностранных дел Сазонова, после министра Временного правительства Милюкова, который, несмотря на свой ум и эрудицию, трепетно благоговел перед английской аристократией, после сахарозаводчика Терещенко, красившего ногти в малиновый цвет и принимавшего дипломатов у себя дома в ярчайших бухарских халатах, представителям капиталистических стран пришлось столкнуться с первым народным комиссаром иностранных дел Советского государства. Даже такие опытные дипломаты, прирожденные аристократы, как граф Брокдорф-Ранцау или лорд Керзон, чувствовали себя не очень уверенно, имея дело с Чичериным, который соединял в себе свойства, крайне редко совмещающиеся в одном человеке.

Чичерин обладал удивительной памятью, знал без

всяких справочников историю международных отношений, начиная с древнейших времен, был изысканно вежлив и по своему происхождению стоял гораздо выше тех дипломатов послеверсальского периода, многие из которых вышли из биржевых контор или сомнительных акционерных предприятий.

Георгий Васильевич очень заботился о том, чтобы наши дипломаты за границей вели себя скромно и «не вызывали представление, будто бы занимающие ответственные должности советские работники имеют возможность тратить большие суммы денег и пользоваться роскошью и удобствами, не доступными широкой массе советских граждан» [1].

В то же время Чичерин следил за тем, чтобы достоинство Советского государства всегда было соблюдено, и умел находить тот предел, за которым надо проявлять твердость.

Среди множества случаев, когда Георгий Васильевич давал предметный урок вежливости буржуазным дипломатам, можно указать хотя бы на такие.

Однажды германский посол граф Брокдорф-Ранцау, много сделавший для улучшения германо-советских отношений, но воспитанный в духе великодержавных германских традиций, потребовал, чтобы Чичерин принял его немедленно. В этот день Георгий Васильевич был занят. Посол настаивал на своем. Тогда Чичерин назначил разговор на двенадцать часов ночи. В назначенное время посла не оказалось. Через четверть часа позвонили в посольство, оттуда сообщили, что Брокдорф-Ранцау выезжает. Георгий Васильевич оделся и

[1] Инструкция от 11 ноября 1920 года.

пошел другим выходом на улицу. Вернувшись после прогулки через полчаса, он принял посла, ожидавшего в приемной.

В Лозанне Чичерин условился о встрече с лордом Керзоном, высокомерным аристократом, питавшим глубокую неприязнь к Советскому государству. Керзон заставил Чичерина некоторое время ждать в приемной. Когда наконец Чичерин вошел в кабинет и Керзон поднялся из-за стола ему навстречу, Георгий Васильевич сказал:

— Сэр, в будущем прошу вас не забывать, что фамилия Чичериных была внесена в столбовые списки на столетие раньше, чем фамилия Керзонов.

Георгий Васильевич любил иногда подшутить над теми политическими лидерами капиталистических стран, которые думали, что министр коммунистической страны — это нечто вроде плакатного большевика (как его изображали в западных газетах), в солдатской папахе, с ножом в руке, который стоит у трупа поверженного капиталиста, наступив сапогом на его блестящий цилиндр.

После заключения Рижского мира с панской Польшей полпредом в Варшаву был назначен старый большевик Леонид Леонидович Оболенский. Это был уже пожилой мужчина, высокий, полный, представительный, с выхоленной бородой, с большими карими, навыкате, глазами, великолепный знаток музыки, живописи и, по слабости человеческой, любитель поесть. Прибыв в «Римский отель», где преимущественно останавливались польские помещики, и переодевшись, Оболенский торжественно проследовал в ресторан. «Вельможные паны» все, как один, повернулись, рассматри-

вая представителя большевиков. Оболенский рассеянно оглядел шляхтичей, сидевших за столом, и вдруг взгляд его оживился. Он увидел того, кто был ему нужен,— метрдотеля. Знак рукой — и тот склонился над его плечом. Леонид Леонидович оправил бороду, выпрямил широкие плечи, поглядел большими карими очами в окно и сказал:

— Сегодня покушал бы я перепелов, только крылышки надо подать отдельно, поджарив их в сухарях. До этого приготовьте навагу с цитронами. Перед навагой съел бы я паштет с трюфелями и немного икры черной, только чтобы зерно было крупное. Подавать ее нужно на льду, сверху посыпать зеленым луком. Если есть крупный редис, принесите, только его нужно разрезать, в серединку — масло, сверху — пудра из соли. Ну и мелочь еще всякую поставьте: грибки белые, огурчики, салат свежий без яиц. Фаршированные яйца подадите отдельно, кильку маринованную, только без головы, польете ее сверху соусом из вареного уксуса с лавровым листом, обложите каперсами. Да к той кильке подадите польскую старку, только настоящую, а не ту, что подделывают в «Наливках».

Уже давно вельможные паны, сидевшие за соседними столиками над чашкой кофе или рюмкой наливки, с почтительным недоумением прислушивались к тому, что говорил советский посол. Все это никак не связывалось с их представлением о «большевиках», какими их изображала правительственная пропаганда буржуазной Польши. Такой завтрак мог заказать только «грабя» [1]; к тому же усы, борода, внешность, сама

---

[1] Граф или князь.

фамилия — Оболенский — все говорило о том, что «пан амбасадор» был наишляхетского происхождения.

Что же касается самого Леонида Леонидовича, то он, заложив салфетку за жилет, принялся за дело, изредка поглядывая не без лукавства на соседей.

Вскоре, проездом в Берлин, Чичерин остановился на несколько дней в Варшаве, и его пригласили ознакомиться в числе прочих достопримечательностей города с национальной галереей. Директор музея, видный пан, получивший этот пост по протекции одного из всемогущих «полковников» из окружения Пилсудского, во фраке и с цилиндром в руках, на плохом французском языке давал объяснения. Чичерин посматривал на него близорукими птичьими глазами поверх очков, а Оболенский поглаживал свою пышную бороду.

И Чичерин и Оболенский были первоклассными знатоками музыки и превосходными пианистами. Но Чичерин был влюблен в Моцарта, а Оболенский — в Бетховена. Накануне между ними произошел спор по музыкальным вопросам. Служащие «Римского отеля», разумеется внимательно за ними следившие, оказались в полной растерянности, когда из апартаментов «пана амбасадора», где находился и «пан министр», полились, перемежаясь с громкими голосами спорящих, бурные звуки разыгрываемых на рояле музыкальных пьес.

Какой нужно было из этого сделать вывод, никто не знал. Итак, директор музея, указывая на одну из картин, продолжал:

— Здесь пан министр может видеть две работы знаменитого испанского живописца Франциско Гойи — «Портрет знатной дамы» и офорт «Тореадоры».

Георгий Васильевич взглянул на него, потом внимательно посмотрел на картины и своим высоким голосом вдруг произнес на превосходном французском языке:

— Вы ошибаетесь, господин директор: этот портрет не подлинник, а копия с картины Гойи, сделанная, надо думать, после смерти художника одним из его учеников. Подлинник — в мадридском музее Дель-Прадо. Что касается офорта, то и это тоже очень хорошая копия. Почти вся серия Гойи «Тореадорство со времен Сида», написанная им в тысяча восемьсот первом году и состоящая из тридцати листов, находится во дворце герцога Альбы... Впрочем, герцог мало интересуется картинами, он собирает коллекцию перчаток...

Прошло около двух лет. За это время, работая в Турции, я, как и, вероятно, каждый советский консул, постоянно чувствовал, с каким вниманием Г. В. Чичерин следит за нашей работой. Иногда за какимнибудь сообщением, которое он считал важным, следовало указание выслать дополнительные подробности. Георгий Васильевич понимал, что, пока сообщение дойдет до полпредства, а оттуда в Москву, будет потерян самый главный фактор — время. Разумеется, в этом случае консул обязан был копию своей информации одновременно сообщить полпредству. Такое пристальное внимание объяснялось прежде всего тем, что Г. В. Чичерин лично занимался делами Востока. Кроме этого, аппарат Наркоминдела в то время был очень небольшой и, несмотря на все увеличивавшийся объем работы, сокращался, а не увеличивался. Так, к 1 декабря 1921 года центральный и заграничный ап-

парат Наркоминдела насчитывал 1361 штатную должность. В течение следующего года он был доведен до 650 человек, то есть сокращен более чем вдвое.

Наркоминдельский аппарат имел еще две особенности. За исключением членов коллегии и полпредов, он состоял главным образом из молодых коммунистов, очень тщательно отобранных в соответствии с теми требованиями, которые Г. В. Чичерин предъявлял к советским дипломатам.

Вот что В. И. Ленин писал о Народном Комиссариате иностранных дел 31 декабря 1922 года:

«...этот аппарат уже завоевал себе (можно сказать это смело) название проверенного коммунистического аппарата...» [1]

И далее в наметках статьи «Как нам реорганизовать Рабкрин»: «Чем объясняется то, что в Наркоминоделе лучший состав служащих? Тем, что там, во-первых, не могли остаться в сколько-нибудь заметной доле дипломаты старой марки, во-вторых, тем, что мы подбирали там заново товарищей, подбирали их исключительно по новым меркам, по соответствию новым задачам, в-третьих, тем, что там, в Наркоминоделе, нет того обилия служащих с бора да с сосенки, в сущности, целиком повторяющих старые качества чиновников, как в других наркоматах, и, в-четвертых, тем, что Наркоминодел работает под непосредственнным руководством нашего ЦК. Это, собственно говоря, единственный из наших наркоматов, который обновлен у

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, 5-е изд., т. 45, стр. 361.

нас полностью, который работает действительно на рабоче-крестьянскую власть и в ее духе, а не только считается работающим так, на самом деле работая в массе против нее или не в ее духе» [1].

Но, конечно, надо было не только подобрать людей, но и научить их сложному искусству дипломатии. Не так просто было сделать вчерашнего командира, красноармейца, партийного или комсомольского работника дипломатом.

Г. В. Чичерин лично составил подробную инструкцию по протоколу, внеся в нее изменения, которые соответствовали природе советской власти, ее демократическому духу.

Но внешнее поведение еще не предопределяло содержания работы. В одном из своих писем он указывал: «Дипломатия должна заключаться не в том, чтобы любезно отвечать на любезные авансы, спускать с лестницы при отсутствии любезных авансов и неподвижно сидеть на стуле, если другая сторона неподвижна. Дипломатия должна пускать в ход миллион всяких средств, но идти вперед, а не топтаться на месте, действовать активно, а не только реагировать на то, что делает другая сторона. Дипломатия должна активно подготовить стремления других сближаться с нами. Для этого она должна использовать всякую возможность, а не упускать таковых».

В то же время он призывал к бдительности: «Коммунистическая дипломатия ни на минуту не отступает от своей бдительности. Она отвечает ударом на удар, на махинации отвечает их разоблачением, она отвечает

[1] Ленинский сборник XXXVI, стр. 523—524.

на коварство апелляцией к широким массам других стран»[1].

По указанию В. И. Ленина Чичерин создал курсы для молодых дипломатов, внимательно следил за их работой, придирчиво требовал, чтобы они проводили ленинские принципы внешней политики.

Хотя принципы нашей внешней политики не изменились — стремление поддерживать национально-освободительные движения на Востоке, осуществлять всестороннее сотрудничество с молодыми развивающимися государствами, последовательно отстаивать принцип мирного сосуществования государств с различным социальным строем, бороться с агрессивными силами империализма за мир, против новой войны,— тогда их не так-то просто было осуществлять. Тогда не было содружества социалистических стран, Советская Россия была единственной страной, строящей коммунистическое общество, национально-освободительное движение только начинало свое победное шествие на Востоке. Капиталистические страны не собирались уступать своих позиций и не отказывались от мысли тем или иным путем задушить молодое Советское государство. Они финансировали заговоры, поддерживали антисоветские организации, создавали нетерпимые условия для работы советских представителей за границей. Советских дипломатов и дипкурьеров убивали. В 1923 году белогвардеец Конради убил в Лозанне В. В. Воровского. На следствии выяснилось, что до убийства Воровского Конради ездил в Берлин, пытаясь

---

[1] И. Горохов, П. Замятин и И. Земсков. Г. В. Чичерин. М., Политиздат, 1966, стр. 63.

организовать там убийство Г. В. Чичерина или Л. Б. Красина. Открывая памятник В. В. Воровскому, сооруженный в Москве на средства сотрудников Наркоминдела, Чичерин сказал:

«Товарищи, перед стенами нашего комиссариата этот памятник является вечным напоминанием той боевой роли, которую наша красная дипломатия играет на передовом посту нашей мировой борьбы. Она остается и всегда будет оставаться верна своему славному знамени. Она будет достойна того трагически погибшего товарища, утрату которого мы сегодня еще раз оплакиваем...»

Сам Г. В. Чичерин считал, что каждый советский дипломат выполняет боевое задание партии на переднем крае классовой борьбы и его деятельность, вполне естественно, связана с возможностью покушений со стороны контрреволюционных эмигрантских организаций. В мужестве и хладнокровии советских дипломатов он ни минуты не сомневается.

Во время поездки Г. В. Чичерина во Францию в 1925 году белогвардейская контрреволюционная организация, которой руководил великий князь Андрей Владимирович, выделила «боевую тройку» в составе террористов Эльвенгрена, Вяземского и Волошина с поручением убить Чичерина. Они рыскали за ним повсюду и наконец наметили его убить на вокзале при выезде в Берлин из Парижа. Но дату отъезда Георгия Васильевича они узнали не точно или она действительно изменилась. Во всяком случае, Г. В. Чичерин благополучно прибыл в Берлин. Во время его пребывания в Германии наше полпредство получило сведения о том, что белогвардейские террористы (а их

было предостаточно, ибо террором занимались и «кутеповцы», и «кирилловцы», и «андреевцы», и грузинские эмигранты, и бывшие «савинковцы» и т. д. и т. п.) следят за всеми его передвижениями.

Г. Астахов, сотрудник полпредства в Германии, докладывая Чичерину сводку статей в немецкой печати, как-то сказал ему об этом.

Георгий Васильевич поднял на него глаза:

— Ну и что же в этом удивительного? Это естественно. Пожалуйста, не отвлекайтесь от материала...

Сам он не только не заботился о своей безопасности, но очень раздражался, когда, находясь за границей, замечал, что его усиленно охраняет местная полиция.

Одному из наших полпредов он раздраженно сказал:

— Это, знаете ли, не охрана, а самая нахальная слежка за каждым шагом.

В Москве Георгий Васильевич ускользал от своих помощников. Надев котелок и довольно поношенное пальто с бархатным воротником, он отправлялся вечером по Кузнецкому мосту «подышать свежим воздухом». Обычно это кончалось тем, что прохожие его узнавали и Георгий Васильевич удирал назад в здание Наркоминдела. Иногда днем его разыскивали у букинистических ларьков на Ильинке, где он неоднократно вступал в оживленные споры с книголюбами по поводу ценности той или иной книги.

Но это были редкие минуты, когда Чичерин отрывался от работы. Практически, за исключением нескольких часов сна и того времени, когда он тут же в кабинете поглощал свой скудный завтрак, обед или

ужин, он работал круглосуточно и к такой же неустанной самоотверженной работе приучал весь сравнительно небольшой наркоминдельский аппарат.

Вспоминая прошлое, могу сказать, что вся машина была построена так искусно, отдельные звенья так пригнаны друг к другу, что она работала бесперебойно и круглосуточно.

Вы могли заглянуть в Советское полномочное представительство в любой стране, посетить любое консульство в самом заброшенном уголке на Среднем или Ближнем Востоке (не следует забывать, какие в те времена были дороги и средства связи), и вы видели работу упорную и настойчивую, направленную единой рукой из одного центра — Москвы.

Уже в начале двадцатых годов Чичерин на основе ленинских указаний разработал принципы практического применения марксистско-ленинского учения в нашей внешней политике.

Основное требование, предъявляемое к дипломатии Советским государством, Чичерин сформулировал так: «Методы советской дипломатии самым резким образом отличают ее от старой дипломатии и поэтому от дипломатии других стран. Она действует при помощи марксистского анализа исторического процесса и ищет поэтому основных, глубочайших течений в ходе развития политических и экономических отношений современности. За конкретными отношениями сегодняшнего дня она старается постигнуть основные двигательные силы современных событий, чтобы приноровить свою деятельность к их поступательному движению. С конкретными отношениями и событиями каждого дня могут быть связаны ошибки и промахи текущей ежедневной

работы нашей дипломатии. Но последняя видит свою главную задачу не в комбинациях сегодняшнего дня, а в том, чтобы строить свою политику на основных началах исторического процесса с тем, чтобы в общем и целом, какие бы отдельные промахи ни играли роль кратковременных препятствий, предоставить непреодолимой силе основных мировых течений истории нести вперед на своих волнах ладью советской политики и исторических судеб трудящихся масс России»[1].

Сам он в высшей степени обладал способностью, анализируя развитие международных отношений, предсказывать будущие события. Конечно, тут сказывались многие его качества — поразительная эрудиция, огромный опыт во внешних политических делах, знание людей, обстановки, многолетнее пребывание в разных странах в период эмиграции. Но помимо всего прочего Г. В. Чичерин обладал редчайшей интуицией, основанной на научном познании.

Он предсказал, что Япония, готовящаяся к схватке с Соединенными Штатами, войдет в союз с Германией.

В октябре 1923 года он писал, что «фашизм не есть, конечно, уголовный бандитизм, а явление глубоко реакционное, которое, притом, на деле не дало ничего другого, кроме вульгарнейшей поддержки капиталистических интересов, иногда под мнимым соусом гармонии труда и капитала».

За десять лет до прихода гитлеровцев к власти Чичерин со всей определенностью утверждал, что «тор-

---

[1] С. Зарницкий, А. Сергеев. Чичерин. М., изд-во «Молодая гвардия», 1966.

жество фашистов в Германии может быть первой ступенью для нового крестового похода против нас»[1].

Он неустанно повторял: «Надо смотреть на реальность, а не рассуждать плохо сделанными обобщениями».

В 1924 году мне предстояло поехать в освобожденный Константинополь, оттуда в Ангору, потом снова вернуться в Константинополь, из него в Москву, из Москвы отправиться в длительную поездку по Европе, с тем чтобы через Латвию, Литву, Германию, Австрию, Италию, Албанию и Грецию снова попасть в Константинополь и вернуться на работу в Турцию.

Итак, пробыв некоторое время в Константинополе, потом в Ангоре и опять в Константинополе, я наконец, провожаемый добрыми напутствиями Владимира Петровича Потемкина (генерального консула СССР в Константинополе) и его жены Марии Исаевны, вступил на борт советского парохода «Чичерин», отходившего в Одессу.

Спустя неделю я сидел в кабинете Г. В. Чичерина. Георгий Васильевич постарел за это время, лицо его казалось утомленным, веки опухли от постоянной ночной работы.

Было известно, что еще до Генуэзской конференции Георгий Васильевич болел, но не бросал работы. В. И. Ленин советовался с членами Политбюро, давать ли ему отпуск до конференции или после нее,— Ленин был очень озабочен состоянием здоровья Чичерина. Но Чичерин, верный своим принципам, категорически

---

[1] С. Зарницкий, А. Сергеев. Чичерин. М., изд-во «Мо-молодая гвардия», 1966.

отказывался бросать работу в столь ответственный момент. После этого он ездил за границу лечиться. Но все его поездки принесли мало пользы, поскольку он встречался с политическими деятелями, продолжал интересоваться всеми делами и в санаториях чувствовал себя, «как в затхлом болоте».

Вообще по своей натуре он был очень восприимчив ко всяким событиям. Теоретически он, конечно, допускал возможность ошибок в текущих делах. Но достаточно ознакомиться с его деловой перепиской, чтобы понять, как остро он на них реагировал.

— Итак,— говорил он, глядя на меня поверх очков,— вы отправитесь в Европу. Вы проедете через Латвию и Литву в Германию, в Берлин и Гамбург, потом через Австрию в Италию, там пробудете месяц и через Албанию и Грецию снова — в Турцию. Конечно, образование, гражданская война, подполье — все это важные элементы формирования характера. И у вас уже есть стаж дипломатической работы. Но это еще не все. Необходима широта кругозора, а следовательно, и познание мира на опыте. Когда я посылаю письмо тому или иному полпреду, копии рассылаются нашим представителям и в других странах. Это делается для того, чтобы кругозор полпреда был шире его деятельности в данной стране, чтобы он мог понимать и оценивать всю международную обстановку. Принимая решение, он должен иметь в виду не только свою колокольню, но и многие другие точки зрения и обстоятельства.

Он выпил глоток крепкого чая из стоявшего перед ним стакана и продолжал:

— Вы поедете до Берлина вместе с нашим гене-

ральным консулом в Генуе Иваном Абрамовичем Залкиндом, и в самом Берлине вам доведется побыть с ним некоторое время. Присмотритесь к нему — это блестящий человек. Он окончил университет во Франции, в Сорбонне, женат на француженке. Он был послан в Индию и находился там длительное время. Англичане искали его по всей стране, но так и не нашли. Залкинд — первый советский человек, который посетил Абиссинию. Во время оккупации Константинополя, когда в городе свирепствовали белогвардейцы и контрразведка союзников, он находился там в качестве нашего торгового представителя. Вы понимаете, какая там была обстановка...

Чичерин допил чай, задумался, потом продолжал:

— Ивану Абрамовичу мы обязаны многим. Это он, назначенный помощником наркома иностранных дел, сразу после октябрьских боев, вместе с матросом Маркиным, собственно говоря, отнял Министерство иностранных дел у старых чиновников, забрал у них ключи, шифры и архивы. Залкинд и Маркин выполнили важнейшее указание Советского правительства — опубликовали тайные договоры царского правительства. Маркин вскоре вернулся на флот и героически погиб в боях с белогвардейцами, а Иван Абрамович является как бы пионером нашего ведомства...

Все последующие дни были заняты подготовкой к отъезду. Ивана Абрамовича Залкинда я не видел. На вокзал я приехал за несколько минут до отправления рижского поезда. Пришлось спешить. Запыхавшийся, я вошел в купе и увидел элегантного седого мужчину, несколько полного, с приятными чертами

лица, одетого в безукоризненно сшитый заграничный костюм. Слегка посвистывая, он читал парижский журнал «Сурир». Рядом с ним сидела дама, почтенная, строго одетая, и не спеша перелистывала французский журнал мод. Я несколько растерянно огляделся, снял пальто и шляпу, поставил чемодан в сетку и сел напротив этой пары. Незнакомец опустил журнал и сказал, с улыбкой протягивая мне руку:

— Здравствуйте, Николай Александрович. Я — Залкинд...

После длительной поездки по Европе я вернулся в Турцию консулом в одном из пограничных с Закавказьем вилайетов. Летом 1926 года, поехав в отпуск в СССР, я встретился с работником нашего полпредства в Германии. Он сказал, что Г. В. Чичерин твердо решил уйти с работы, состояние его здоровья очень ухудшилось, но все надеются, что он поправится.

Вернувшись к себе, в затерянный в горах Артвин, который был столицей вилайета, я почувствовал, что шестилетнее пребывание за границей мне стало невмоготу. К тому же отношения с турецкими властями были прекрасные, текущие дела шли нормально. Я стал просить полпредство и Наркоминдел перевести меня на работу в Москву. После нескольких отказов я наконец получил на это согласие.

В Москве в отделе Среднего и Ближнего Востока работали люди, которых я хорошо знал, но сама обстановка в Наркоминделе несколько изменилась. Когда-то небольшое ведомство теперь выросло в большой аппарат.

К этому времени все крупные капиталистические державы, за исключением США, признали СССР.

Но вместе с признанием началась и активизация антисоветских сил в Англии, Германии, Польше. Прокатилась волна полицейских налетов на советские представительства в Пекине и Шанхае, торговое представительство в Лондоне. Убийство Петра Лазаревича Войкова в Варшаве белогвардейцем Борисом Кавердой оживило деятельность террористов-монархистов, которые под руководством Кутепова состояли в организации бывшего великого князя Николая Николаевича. Общая обстановка в Европе стала напряженной. Г. В. Чичерин по-прежнему работал и днем и ночью. Я его видел всего дважды и то в течение нескольких минут. Георгий Васильевич показался мне очень больным, и, когда встал из-за стола и направился к дивану, чтобы взять с него какую-то папку, я заметил, что он прихрамывает.

Однажды по поручению заведующего отделом Ближнего Востока С. К. Пастухова я должен был составить срочную справку и, получив необходимые материалы у заведующего архивом Наркоминдела Е. Адамова, задержался допоздна. Справка должна была быть точной и краткой, и, листая одно дело за другим и разыскивая нужные мне данные, я не заметил, как дверь открылась и на пороге появился Георгий Васильевич.

Он был без пиджака, в жилете и с неизменным шарфом на шее. Посмотрев на меня поверх очков (обычно он ими пользовался во время работы), Георгий Васильевич спросил:

— Вы что же, и по вечерам работаете?

— Иногда. Чтобы хорошо подготовить материал, нужна тишина... Вечером спокойнее...

Георгий Васильевич улыбнулся:

— Я всегда это говорил...— И спросил, как я устроился с жилищем в Москве.

Я рассказал, что пока живу в гостинице «Княжий двор», но она валютная, предназначена для иностранцев, и меня торопят с переездом, и я, собственно, не знаю, как дальше быть. Чичерин обещал помочь и ушел из комнаты.

Действительно, скоро по его письму Моссовет предоставил мне хороший номер в одной из гостиниц в переулке на Тверской улице.

Через некоторое время Центральный Комитет партии перевел меня на другую работу, более ответственную и более беспокойную. Изредка встречаясь с товарищами по наркоминдельской работе, я узнавал от них, что здоровье Чичерина все более ухудшается, а в 1930 году он был освобожден от работы по болезни.

В 1932 году у меня открылась небольшая старая рана на голове, я не обратил на это внимания сразу и в итоге заболел. Мне пришлось долго лежать в Кремлевской больнице. Однажды дежурная сестра мне сказала, что в соседней палате находится Г. В. Чичерин. Помимо диабета у него полиневрит. Теперь боли прошли. Из палаты он не выходит и даже замочную скважину заложил ватой. Я спросил, бывает ли у него кто-нибудь. Она ответила:

— Очень редко, и вообще он не любит, когда даже из медперсонала к нему заходят новые люди...

В ноябре я уже ходил, но мне предстояло примерно через месяц перенести операцию. Меня соглашались отпустить домой только под Новый год на несколько дней.

Однажды в конце ноября сестра зашла и сказала, что Георгий Васильевич просит меня к нему зайти к вечернему чаю. Я спросил:

— Откуда же он знает, что я здесь?

— Видите ли, он всегда спрашивает, кто находится в соседних с ним палатах.

Я задумался. Уже пять лет, как я не работал в Наркоминделе и все мои интересы были связаны с литературой и искусством. Правда, в 1928 году А. В. Луначарский передал мне адресованное ему Георгием Васильевичем письмо. Оно являлось ответом на просьбу редакции журнала «Искусство» сотрудничать в издании. Из этого ответа явствовало, почему Г. В. Чичерин не считает возможным высказаться по вопросам литературы и искусства, а также то, что он великолепно с ними знаком.

К вечеру, поборов в себе робость, я постучался в соседнюю палату. Георгий Васильевич был в халате, шея его была повязана фуляром. Он посмотрел на меня пристально:

— А вы, батенька, сильно изменились...

Глядя на него, я подумал о том же. Вид его стал еще более аскетическим, выпуклые глаза блестели, лицо имело желтоватый оттенок, хотя на щеках пятнами выделялся нездоровый румянец.

— Я решил сегодня устроить маленькое пиршество...— И он подвел меня к столу.

На столе было несколько тарелок с ветчиной, сыром, хлебом, небольшая банка икры и бутылка портвейна. Это был тот самый знаменитый «старый лечебный» портвейн, который давали тогда некоторым слабым больным к столу, но не свыше двухсот грам-

мов в день. Мне он так надоел, что я его возвращал назад, к большому удовольствию приносивших еду санитарок.

Когда мы сели, Георгий Васильевич с величайшей тщательностью налил крепкий чай из заварного чайника и добавил кипятку из другого. Оба чайника были покрыты сверху салфетками. Видно было, что хозяин занимается приготовлением чая сам и придает этому большое значение. Он подвинул блюдечко с нарезанными ломтиками лимона и сахар. В палате было множество книг, журналов и газет, в том числе и иностранных.

Георгий Васильевич выпил глоток чаю, потом сказал:

— Я читал ваши очерки в «Красной нови», в «Огоньке» об Афганистане, Турции, потом два романа. Один из них относится к истории Бактрианы, где когда-то действовал великий Зороастра, другой, если я не ошибаюсь, к периоду мировой войны. Это хорошо, когда дипломат обладает большим кругозором и умеет хорошо писать и говорить. Я имею в виду точность мыслей и хороший, ясный язык изложения...

— Я уже не дипломат...

— Советская дипломатическая школа вовсе не призвана подготовлять узких профессиональных чиновников. Это должны быть коммунисты с широким кругозором и большой культурой...— Потом он задумался: — Скажите, пожалуйста, а вы состояли в РАППе?

— Нет, не состоял. Не все члены партии входили в РАПП и разделяли взгляды этой организации...

Георгий Васильевич несколько оживился:

— По-моему, РАПП, так же как и ее организации в музыке и живописи, принесла много вреда. Они отрицали огромное значение классического наследства, необходимость его использования и изучения. Они не только оттолкнули крупнейших беспартийных деятелей литературы, музыки, театра, живописи, но и травили их... Я уже не в состоянии работать серьезно, хотя пытаюсь закончить обработку своих заметок о Моцарте.— И он указал на большую папку, в верхнем правом углу которой была надпись примерно такого содержания: «Передать лично в руки профессора Е. М. Браудо» [1].

Я знал такого музыковеда, но никогда не разговаривал с ним на музыкальные темы.

Вошла сестра и предупредила, что начинается вечерний обход. Я попрощался и вернулся в свою палату.

В июле 1936 года Георгий Васильевич скончался.

В конце мая 1969 года я хоронил своего старого друга Семена Ивановича Аралова — бывшего посла в Литве, Латвии и Турции и члена коллегии Наркоминдела. Всего за несколько месяцев до смерти он прислал мне книгу Н. Жуковского о Войкове с такой надписью: «Николаю Александровичу Равичу — моему старому неизменному другу. Посылаю тебе эту хорошую книжку о Петре Лазаревиче Войкове. В ней ты найдешь и мои строчки о нашей общей, волнующей меня до сих пор дипломатической работе с товарищем Войковым, на заре Советской власти. С крепким пожа-

---

[1] В 1970 г. в Ленинграде издан этюд о Моцарте, где точно и подробно изложена история этой работы Г. В. Чичерина.

тием руки твой Семен Аралов. Москва 19 января 1969 г.».

И вот после похорон С. И. Аралова я прошел на старое Новодевичье кладбище к могиле Г. В. Чичерина.

В плеяде выдающихся людей, окружавших В. И. Ленина и помогавших ему строить великое Советское государство, Г. В. Чичерин был, конечно, одной из замечательных фигур. И может быть, самой большой заслугой Г. В. Чичерина явилось то, что ему удалось создать под руководством партии школу советских дипломатов, которые достойно и мужественно представляют свою Родину на переднем крае борьбы за мир во всем мире.



У КОММУНИСТОВ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКАКИХ ПРИВИЛЕГИЙ, А ТОЛЬКО ОДНИ ОБЯЗАННОСТИ

После разгрома белополяков и Врангеля я работал начальником секретно-информационного отдела при начальнике тыла Юго-Западного фронта Ф. Э. Дзержинском. В конце ноября 1920 года я получил назначение в Туркестан, в распоряжение Реввоенсовета Туркфронта и Центрального Комитета Коммунистической партии Туркестана.

Мне было жалко расставаться с Харьковом, я привык к своей работе в штабе и к своим товарищам. Все это были тогда молодые люди, в большинстве студенты Харьковского университета — С. Любарский, Н. Николаев, Ф. Крикун и другие. Правда, Ф. Э. Дзержинский уже в конце июля выехал на Западный фронт, штаб Юго-Западного превратился в штаб Южного фронта, менялось командование, но система работы и принципы воспитания кадров, установленные Дзержинским, оставались неизменными.

Менее всего эта система основывалась на применении наказаний. Дзержинский терпеливо учил работать сотни молодых людей, состоявших в его аппарате. При этом сам он был в глазах молодежи живым примером рыцаря революции «без страха и упрека». Он приучал к тому, чтобы люди никогда не спешили, но и не запаздывали, чтобы прежде, чем доложить о чем-нибудь, все было обдумано и проверено и, самое главное, чтобы люди умели владеть собой при любых обстоятельствах и никогда не говорили неправды.

Оглядываясь на свое прошлое, я должен сказать, что мое поколение в молодости было лишено многого, чем теперь пользуется молодежь: возможности отдыхать и спокойно продолжать образование, развлекаться и читать, сколько хочется. Но зато нам посчастливилось работать под руководством старых большевиков, составлявших непосредственное окружение В. И. Ленина.

Уже в первые дни после Октябрьской революции наиболее умные представители капиталистического мира стали понимать, что партия большевиков, пришедшая к власти,— особая партия и что созданное ею правительство состоит из людей, которые по своему мировоззрению, одаренности и культуре стоят неизмеримо выше тех, кто входил в правительства, существовавшие раньше в какой бы то ни было стране.

Так, например, полковнику Раймонду Робинсу[1] «самым важным представлялись эрудиция, самоотвер-

---

[1] Руководитель американской миссии Красного Креста в России в 1919 году, фактически выполнявшей функции политического наблюдателя.

женность и дерзкая отвага вождей революции, в особенности Ленина, и тот факт, что первый Совет Народных Комиссаров — если основываться на количестве книг, написанных его членами, и языками, которыми они владели,— по своей культуре и образованности был выше любого кабинета министров в мире».

Разумеется, это было впечатление умного и добросовестного иностранца. Но он не заметил основных черт, свойственных Коммунистической партии и резко отличавших ее от каких бы то ни было других партий.

Меня, в начале революции еще совсем молодого человека, удивляло, например, то чисто физическое бесстрашие, которое проявляли старые большевики в минуты опасности.

Мне приходилось сталкиваться с профессиональными революционерами. В течение двух десятков лет они вели пропагандистскую работу, изучая марксизм. Но, попав на фронт, казалось бы в совершенно необычную для них обстановку, эти теоретики марксизма не только проявляли бесстрашие, не легко дававшееся многим военным, но и превосходно ориентировались в обстановке.

Я знаю множество случаев, когда во время отступления так называемые «военные специалисты», честные и знающие люди, впадали в панику. И тогда «лохматые штатские», для которых истинным удовольствием было вести теоретический спор с меньшевиками, иной раз брали на себя руководство крупными воинскими соединениями, организовывали контрнаступление и выигрывали сражение.

В самые тяжелые годы, когда голод и холод часто были страшнее неприятеля, некоторые старые члены партии ограничивали себя настолько, что требовалось личное вмешательство В. И. Ленина, чтобы заставить их пользоваться пайком, установленным хотя бы для красноармейцев.

Общеизвестно, сколько усилий стоило Владимиру Ильичу заставить наркома продовольствия А. Д. Цюрупу питаться нормально. Еще труднее было с Г. В. Чичериным, который считал «принципиально недопустимым для себя получать что-нибудь сверх того, что выдается рядовым гражданам».

Еще одна черта, передававшаяся от старого поколения к младшему и составляющая главное качество большевиков,— это непоколебимая вера в мудрость партии, в ее силу, в то, что ЦК найдет правильное решение при любой ситуации и никогда не оставит партийного человека в беде.

Вспомним гражданскую войну, особенно 1918 и 1919 годы, когда казалось, что враг, великолепно вооруженный, обученный и снабженный, поддерживаемый всем капиталистическим миром, триумфально шествует вперед. Какая нужна была вера в свою партию, в победу пролетариата, чтобы победоносно завершить эту великую историческую схватку!

Вера в мудрость партии, в бессмертие ее идей составляет основную силу коммуниста.

Итак, наступил день отъезда. Я попал в вагон, первый международный вагон, который, после гражданской войны, был включен в состав поезда, идущего в Москву.

Я не был в Москве около трех лет. Уезжая рано на

работу и возвращаясь поздно вечером, за последний год я почти не сталкивался ни с какими бытовыми вопросами: питался в штабной столовой, получал паек и обмундирование, жил в домах, находившихся в ведении военной комендатуры. Теперь же, в течение нескольких дней, я убедился, в каких тяжелых условиях голода, холода и лишений жило население героической Москвы. Но вместе с тем я нигде не видел такого подъема духа, такой уверенности в том, что гражданская война кончена и что в ближайшее время начнется экономическое возрождение страны.

В одном из управлений Реввоенсовета я встретил знакомого командира дивизии, Николая Владимировича Куйбышева, приземистого, широкоплечего, с редкими волосами, зачесанными на косой пробор (потом он стал брить голову наголо), энергичного и веселого, на редкость обаятельного человека. Биография у него была замечательная. Он был младшим братом известного революционера и старого большевика — Валериана Владимировича Куйбышева. Отец их, Владимир Яковлевич Куйбышев, после окончания Казанского пехотного училища служил в городе Семипалатинске. Здесь он познакомился с доброй и умной девушкой, учительницей Юлией Николаевной Гладышевой, и женился на ней. Помимо любви тут сыграло роль и сходство взглядов. Военное начальство пуще всего боялось бедных офицеров, да еще с либеральными взглядами и женами из курсисток, к тому же она была еще и учительницей. Царская бюрократия видела в студентах, учительницах и учителях главных распространителей революционной заразы. Владимира Яковлевича Куйбышева загнали в чертову глушь — в уездный городок

Кокчетав Акмолинской области, в семистах пятидесяти верстах к юго-западу от Омска и в ста восьмидесяти верстах от Петропавловска. Городок насчитывал около пяти тысяч человек населения и был окружной станицей сибирских киргизов. У Куйбышевых было восемь детей. Жалованье Владимир Яковлевич получал грошовое. Поэтому его жене, чтобы хоть как-то вести дом, кормить и воспитывать детей, пришлось учительствовать, за что она получала восемь рублей в месяц. К тому же мужа призвали на японскую войну, и домой он вернулся фактически инвалидом.

Чтобы дать образование мальчикам, был только один выход — отдавать их в Омский кадетский корпус, где содержание и обучение было бесплатное. Старший сын — Валериан Владимирович Куйбышев — учился блестяще, но у него несколько раз находили запрещенную литературу. По окончании корпуса он направился в Петербург и был принят в Военно-медицинскую академию. Но уже в Омске шестнадцати лет от роду, в 1904 году, он вступил в РСДРП и, приехав в Петербург, окунулся в революционную работу. С этого времени пошли аресты, тюрьмы, ссылки.

Николай попал в тот же Омский кадетский корпус. Но приходилось ему туго. Начальство никак не могло примириться с мыслью, что из стен корпуса вышел такой «государственный преступник», как Валериан Куйбышев. Николая Куйбышева «гоняли по всем статьям», но придраться к нему не могли, учился он отлично. Осенью 1912 года его направили в Александровское военное училище, а по окончании его в 10-й Гренадерский Малороссийский полк. Началась первая мировая война. Офицер Николай Куйбышев отличался

храбростью и большим военным дарованием, пользовался любовью солдат. Он был несколько раз ранен, получил много боевых наград, дослужился до капитана. Но в душе его все больше росло возмущение против беспорядка и воровства, царивших в армии, и бездарного самодержавного режима, обрекавшего Россию на поражение и развал.

В декабре 1917 года, получив отпуск по ранению, Н. В. Куйбышев приехал в Москву, а оттуда поехал в Тамбов навестить овдовевшую мать. Тут он, после многих лет разлуки, встретился со старшим братом Валерианом. В итоге этой встречи Николай Куйбышев вступил в ряды Красной Армии. Он был назначен членом Высшей военной инспекции. Потом возглавлял 3-ю стрелковую дивизию на Украине. Но по-настоящему его полководческий талант развернулся в самый тяжелый для советской власти момент, когда деникинцы взяли Курск и подходили к Орлу.

Тогда Николая Куйбышева назначили командиром 3-й бригады, а потом 9-й стрелковой дивизии, которая впоследствии стала одной из самых известных в Красной Армии. С ней прошел он от Орла до Новороссийска, громя самые отборные части белых войск. Во главе группы войск, в которую входила эта дивизия, он ликвидировал десанты Врангеля и разбил опытнейших его генералов — Улагая и Назарова и, наконец, осуществил захват Арабатской стрелки при штурме Перекопа. Арабатская стрелка была узкой полоской земли с шестью линиями укреплений, возведенных белыми под руководством французских военных инженеров.

К тому времени он уже имел два ордена Красного

Знамени, что тогда было редкостью. Третий орден Красного Знамени и почетное оружие он получил за взятие Батума впоследствии, когда командовал 2-м стрелковым корпусом.

Итак, в тот ясный, но уже по-осеннему свежий ноябрьский день 1920 года мы с ним отправились в штабную столовую. Но суп и каша оказались такими, что нам пришлось задуматься: а где бы можно было дополнительно пообедать?

Николай Владимирович вспомнил:

— Подожди-ка, Лев Гордон водил меня вчера в одну столовую, к армянину. На Неглинной...

Столовая оказалась каким-то закутом в квартире на втором этаже. Здесь можно было достать рубленые котлеты с картошкой и серый хлеб. Меланхолический хозяин с печальными черными глазами, подавая еду, спросил:

— Ситру надо?

— Надо! — решительно сказал Николай Владимирович.

Хозяин поставил на стол бутылку, наполненную мутноватой жидкостью. Это был, по-видимому, разбавленный спирт-сырец. Больше, чем по полстакана, выпить его было невозможно. Впрочем, через несколько минут хозяин забрал бутылку, сказав:

— Народ разный заходит, долго держать на столе нельзя...

Покончив с едой, Николай Владимирович откинулся на спинку стула...

— Ты в Туркестан едешь? Так... А я на Кавказ... Люди — как листья, крутит ветер — столкнутся и

опять разлетаются в разные стороны... Еще год-два, все успокоится, каждый осядет на своем месте... Ты Валериана Владимировича знаешь?

— Нет, только понаслышке.

Действительно, я знал о В. В. Куйбышеве только то, что он был комиссаром нескольких армий, Южной группы войск Восточного фронта, затем членом Реввоенсовета армии, оборонявшей Астрахань, и, наконец, членом Реввоенсовета Туркестанского фронта. Но лично его я никогда не видел.

— Вот что,— сказал Николай Владимирович,— в Ташкенте встретишь брата, передай ему поклон. Он сейчас полномочный представитель при революционном Бухарском правительстве...

Мы вышли на улицу. Редкие фонари освещали грязные тротуары, забитые досками витрины магазинов, пустынный Петровский бульвар и одиноких прохожих.

На углу Николай Владимирович остановился.

— Тебе куда?

— На Тверскую, к Триумфальной площади...

— А мне к Театральной... Ну, прощай, может быть, скоро увидимся...

Увиделись мы не очень скоро — через восемь лет.

Ташкент меня поразил. До этого я никогда не был на Востоке. Теперь трудно себе представить, каким Ташкент был сорок лет назад.

Как только вы переходили по мостику из русской части в так называемый Старый город, перед вами открывался необычный мир.

Узкие улицы скрывали за глинобитными стенами

затейливые дома, окруженные садами, в которых звонко журчала арычная вода. Все женщины ходили в длинной одежде, с закрытыми чадрой лицами. Попадалось множество стариков в чалмах и ярких, полосатых халатах. С утра и до вечера гудела человеческая толпа на базаре Старого города и звенели цепями вьючные лошади.

После голодного Харькова и еще более голодной Москвы обилие всякой еды производило удивительное впечатление. На каждом шагу шипели на жаровнях шашлыки, везде пекли лепешки, в огромных котлах дымился плов. Пряные запахи восточных блюд неудержимо тянули прохожего в чайхану, где, сидя на корточках, пили чай и ели бухарцы, узбеки, туркмены, киргизы, таджики. Множество лавок торговало всем, чем угодно. Вы могли увидеть головки сахару в синей бумаге, пачки чаю в фирменной упаковке — «Высоцкий и сыновья», морозовское полотно «шесть нулей», расписные чайники Кузнецова и кальян со всеми приспособлениями для курения. Пронзительно визжали трубы около большой мечети при входе в Старый город. Среди пестрой толпы выделялись приезжие из русских городов — худые, бледные, одетые в военную форму, ошеломленные этим изобилием фруктов, мяса, хлеба. Люди покупали, продавали, меняли, ругались, кричали и толкали друг друга.

После первой прогулки по этому базару я вернулся в гостиницу, раздумывая над тем, что мостик, разделявший две части города — новую, где все было национализировано, а торговля шла по карточкам, и старую, где можно было купить все, что угодно,— фактически соединял два разных мира. Между прочим, тогда бы-

ли и два разных исполкома — Нового и Старого города.

Туркестан с только что присоединившимися к нему Бухарской народной республикой и бывшим Хивинским ханством глубоко вклинился в Среднюю Азию и граничил с Афганистаном, Северо-Западным Китаем и Персией. На его территории жило много народностей, и сложной жизнью этого огромного края руководило несколько высших организаций.

Помимо ЦК КПТ, ТуркЦИКа и ТуркСНК были еще Турккомиссии ВЦИКа, Реввоенсовет Туркфронта и представительство Наркоминдела. Уполномоченным Наркоминдела в Средней Азии был Д. Ю. Гопнер.

Тогда все на Среднем и Ближнем Востоке находилось в движении. Образовался независимый Афганистан, в Персии старая династия доживала последние дни, рухнули Бухарский эмират и Хивинское ханство. Синьцзян и Кашгар фактически управлялись самостоятельно, не завися от Центрального Китая. Туда бежали остатки белогвардейских армий Дутова и Бакича.

Новое боролось со старым. Но тогда, почти полвека назад, это все-таки был еще Восток, с его в течение многих веков создававшимися формами управления, традициями, религиозным фанатизмом. И старое то переплеталось с новым, то сталкивалось с ним, и тогда возникали сложные ситуации.

Чтобы во всем этом разобраться и уметь немедленно принять нужное решение, помимо ума, нужно было обладать сильной волей и большой работоспособностью.

Д. Ю. Гопнер обладал этими качествами в полной мере.

Так как у меня было несколько обязанностей, то в один из первых дней по приезде я отправился к Гопнеру, после того как секретарь ЦК КПТ В. М. Познер позвонил ему.

Гопнер, человек среднего роста, скромно одетый, с удивительно умными глазами, как бы освещавшими его бледное лицо, производил обаятельное впечатление. Он познакомил меня со своими помощниками и попросил приехать на следующий день в два часа.

Приехав к Гопнеру на другой день, я застал у него в кабинете крупного человека с серыми глазами, большим покатым лбом и зачесанными назад волосами. Он был в гимнастерке, подпоясанной армейским ремнем, и брюках, заправленных в сапоги...

Посетитель, по-видимому, собирался уходить. Я услышал конец его фразы:

— Так вот... Уезжаю я из Бухары в Москву с чувством беспокойства...

Тут он оглянулся на меня и нахмурился.

Гопнер улыбнулся:

— Ничего, ничего, продолжайте, этот товарищ будет у нас работать по Афганистану, познакомьтесь!

Человек с серыми глазами повернул ко мне широкое лицо и протянул руку.

— Куйбышев,— назвался он и продолжал: — Дело заключается в том, что большинство постов занято младобухарцами, которые никогда не думали о ломке старого государственного аппарата, о ликвидации ханского землевладения и феодальных пережитков, а

представляли себе революцию как некое парламентарное ограничение власти эмира. Они и не способны на радикальные революционные действия. А раз так, то реакционное духовенство, беки, купечество, остатки старого чиновничьего аппарата используют это при первом удобном случае. К тому же эмир бежал за границу, захватив с собой значительные ценности, и, вероятно, мечтает снова вернуться на престол...

Гопнер помолчал, потом тихо сказал:

— Все это совершенно верно. Но верно также и то, что в условиях Бухары провести коренные социальные преобразования в несколько месяцев невозможно...

Куйбышев, как бы соглашаясь, кивнул головой.

— Следовательно, именно там нужна величайшая бдительность...

Неожиданно он улыбнулся и стал удивительно похож на своего брата. Но он был гораздо крупнее Николая, и главное, чем была привлекательна его внешность,— это огромный лоб мыслителя...

— Кстати,— сказал я,— в Москве перед отъездом я видел вашего брата. Не знаю, застанете ли вы его, он должен был уехать на Кавказский фронт...

— Вы видели Николая? — спросил, оживляясь, Куйбышев.— Как же он себя чувствует?

Я коротко рассказал ему о нашей встрече. После этого Куйбышев стал прощаться.

Подавая ему руку, Гопнер с грустью сказал:

— Здесь, в Туркестане, нам будет вас не хватать.

На меня Куйбышев произвел тогда впечатление человека большого ума и редкой скромности. В Красной

Армии он пользовался репутацией талантливого организатора, способного иногда принимать самые рискованные решения. В историю гражданской войны вошла его экспедиция на Закаспийском фронте в тыл врага по пескам пустыни Каракум, продолжавшаяся четыре дня. Красноармейцы должны были 110 километров тащить на себе грузы, которые не удалось разместить по вьюкам на лошадях и верблюдах. Вся операция до деталей была разработана командующим Г. В. Зиновьевым, В. В. Куйбышевым и председателем Реввоенсовета Закаспийского фронта Н. А. Паскуцким. На станции Казанджик были захвачены 1000 солдат и офицеров, 9 паровозов, 5 поездов, 3 бронепоезда, 16 орудий, 20 пулеметов, 1200 винтовок и много снаряжения. Однако путь к Ашхабаду прикрывала другая узловая станция — Айдын, район которой занимала отлично снабженная артиллерией, бронепоездами и бронеавтомобилями деникинская дивизия под командованием генерала Литвинова. Никому в штабе этой дивизии и в голову не пришло, что крупный отряд может зайти ей в тыл, в обход по пустынным пескам. Когда один из белых разведчиков доложил генералу Литвинову вечером, накануне атаки, что он заметил в тылу красноармейский отряд с двумя артиллерийскими батареями, генерал наложил на его рапорте резолюцию: «Арестовать паникера. Чтобы в четырех верстах могли очутиться красные,— это исключено. Генерал Литвинов». И лег спать. А утром он в исподнем белье с несколькими всадниками бежал в пустыню.

Дивизия его, вместе с бронепоездами, броневиками и артиллерией, была взята в плен. Это решило исход борьбы на Закаспийском фронте.

Семь лет спустя, когда я встречался с В. В. Куйбышевым уже в Москве, особенно ярко бросалась в глаза основная черта его характера — скромность, переходящая в застенчивость. Приведу только один пример. В это время В. В. Куйбышев был уже членом Политбюро, председателем ВСНХ, словом, занимал самые высокие посты в государстве. Как-то осенью 1928 года, получив заранее два билета в кинотеатр «Унион», у Никитских ворот, я отправился по поручению Главреперткома вечером смотреть какой-то фильм. Начался проливной дождь. Подъехав к кинотеатру, я увидел перед кассой на улице длинный хвост желающих попасть на сеанс. В очереди стоял высокий мужчина в шляпе с широкими полями и в непромокаемом, довольно старом пальто с поднятым воротником. Я поравнялся с этим человеком и обомлел — это был В. В. Куйбышев.

— Валериан Владимирович, что вы здесь делаете?

— Как видите,— ответил он хмуро, наклонив голову, чтобы вода стекла с полей шляпы,—стою в очереди...

— Ведь есть правительственные места, глупо будет, если вы простудитесь...

— Другие люди стоят за билетами в очереди, почему я должен быть исключением?..

— Ну так вот вам один билет и идите в театр.

Он подозрительно посмотрел на меня:

— А как вы пройдете?

— У меня есть второй и, кроме того, именной пропуск Главреперткома на служебное место.

Куйбышев потоптался по мокрому тротуару в сво-

их черных, тоже поношенных ботинках и наконец сказал:

— Раз уж так совпало, что у вас действительно есть лишний билет, тогда, пожалуй, пойдем...

Когда мы вошли, он, отряхиваясь, посмотрел на свой плащ и задумчиво проговорил:

— Стал промокать. А ведь когда-то идешь в любой дождь, и ничего... Да, все изнашивается: и люди и вещи...

После сеанса мы пошли по Никитской улице в сторону Моховой и оттуда к Кремлю.

Валериан Владимирович жил в здании Потешного дворца, в котором когда-то была квартира А. В. Луначарского, до его переезда на другую, в Денежном переулке.

Вечер был сырой, мокрый, асфальт блестел после дождя под лучами редких электрических фонарей. Куйбышев закашлялся.

— Вы не простудились?

— Чепуха,— ответил он и перевел разговор на литературные темы.

К моему удивлению, советскую художественную литературу он знал превосходно. Следил он и за ежемесячными литературными журналами. Упомянув о моих вещах, печатавшихся тогда в «Красной нови», он сделал несколько замечаний настолько верных, что я удивился, как это ни А. Воронский[1], ни я не заметили того, о чем он говорил.

— Валериан Владимирович, неужели у вас хватает

---

[1] Редактор «Красной нови».

времени, чтобы так внимательно следить за художественной литературой?

— Ну, положим, гораздо больше уходит на научную и техническую литературу. Художественная литература — это скорее отдых. А времени, конечно, не хватает. Дни летят с какой-то невероятной быстротой. Да и неудивительно — ведь нам приходится отсталую, разоренную, нищенскую страну превращать в передовую, индустриальную, догонять Запад. Тут спать некогда...

Он задумался и неожиданно сказал:

— А почему бы писателям не взяться за историю фабрик и заводов?

— Я думаю, что это скорее дело историков, чем писателей...

Валериан Владимирович даже остановился.

— Неверно, совершенно неверно. Вы что же, представляете себе историю фабрик и заводов как техническую историю отдельных предприятий? Предположим, был такой-то завод, на нем работало столько-то людей, было старое оборудование. А потом произвели реконструкцию, поставили новое оборудование, увеличили количество рабочих. Да ведь это чушь! Процесс обновления и расширения предприятий происходит и на Западе. А я говорю об истории рабочего класса в России. Наша партия с первых дней своего существования опиралась на передовых рабочих крупнейших фабрик и заводов России. Они пополняли партийные ряды, шли на фронт, в самое тяжелое голодное время обеспечивали военное производство. И сейчас, когда мы из России нэповской строим страну социалистическую, мы опираемся на них, на передовиков производ-

ства. О людях надо писать... Есть целые рабочие династии, которые передают революционные традиции от отца к сыну. Лучше скажите, что еще не все наши писатели понимают важность этой задачи... И потом другое — вот вы, между прочим, по своей работе отвечаете за репертуар театров, клубов и так далее. Есть ли у нас хорошие пьесы для рабочих клубов, для театральной самодеятельности?

— Мало таких пьес...

— Почему?

— Потому что, отдавая свою пьесу в театр, драматург получает авторский гонорар, а в клубах его не платят. Кроме этого, там пьеса может быть хорошо поставлена, о ней будут писать, она может принести известность автору. А при постановке в клубе он ничего этого не имеет. Да еще и пьесы такие писать труднее. В них должно быть всего несколько действующих лиц и минимальное количество костюмов и декораций. Может быть, впоследствии, когда у нас возникнут дворцы культуры при больших предприятиях, станет более гибкой советская драматургия, изменится гонорарная система... А пока...

Он перебил меня:

— А пока нужно бить во все колокола по этому вопросу. Вы говорили об этом когда-нибудь с Луначарским?

— Говорил, и не раз. Но не так все это просто...

— А простого ничего не бывает, когда строят новое, на все приходится тратить энергию, силы, нервы. Надо этим делом заинтересовать ВЦСПС, да и промышленность привлечь. Наша задача состоит не только в том, чтобы поднять производительность труда и

обеспечить рабочих жилищем и соответствующей уровню жизни заработной платой. Советский рабочий должен расти духовно, иметь культурный отдых. Это именно для него в первую очередь должны служить литература, музыка, театр...

Слушая его, я думал: «Вот удивительный человек. Двенадцатый час ночи, целый день он работал с полной нагрузкой, пошел посмотреть картину, чтобы немного рассеяться. И вот он опять готов уже взяться за новые дела...»

Мы дошли до кремлевских ворот. Он улыбнулся, и лицо его стало таким приветливым и добродушным, что я тоже невольно улыбнулся в ответ.

— Ну вот и поговорили... Надеюсь, мы с вами еще встретимся...

Встретились мы совершенно неожиданно, вероятно, через год после этого разговора.

С Николаем Владимировичем Куйбышевым, когда он переехал в Москву и стал членом Комиссии Военного партийного контроля, мы встречались часто. Я жил недалеко от Триумфальной площади на 4-й Тверской-Ямской. Он — почти тут же, на Садовой, в «казенной квартире», рядом с Военно-политической академией. Обычно мы созванивались после работы и встречались или у меня, или у него. Квартира у него была скромно обставленная и очень чистая. В кабинете — несгораемый шкаф, письменный стол, жесткие стулья. Никакой роскоши он не признавал. Это была квартира военного человека, привыкшего переезжать с места на место. Напротив в маленьком особнячке помещалось общество «Автодор». Там стояла его машина, небольшая, но с сильным мотором. Управлял он

ею превосходно. Иногда собиралась компания участников гражданской войны. Так как я тогда был комиссаром Отдельного Октябрьского батальона бывших красногвардейцев, красных партизан и дружинников 1905 года, то обычно в нашу компанию входили командир батальона Б. Н. Попов, впоследствии прославленный в Отечественную войну командир гвардейской дивизии, его начальник штаба Д. М. Добыкин, соратник Николая Владимировича по 3-й бригаде и 9-й дивизии, иногда Кюзис (брат П. И. Берзина) и другие.

XVI годовщину Красной Армии мы отпраздновали все вместе за большим столом. Многие из нас тогда были награждены.

Николай Владимирович очень был похож на своего брата Валериана. Та же широкая улыбка, прямота, искренность, та же кристальная честность. Но, конечно, он имел свои специфические черты, отличавшие его от брата. Валериан Владимирович был государственный и партийный деятель большого масштаба, с более широким кругозором и мышлением, охватывавшим всю перспективу развития страны. Кроме этого, если проследить его жизнь день за днем, после Октября, то не найдешь ни одной недели, когда бы он не выступал два-три раза перед рабочей аудиторией или с докладами на совещаниях.

Николай Владимирович являлся типичным военным человеком — точным, подтянутым, с равномерным, спокойным строевым шагом, всегда аккуратно одетый. Гимнастерка, галифе, сапоги, широкий поясной ремень, три ордена Красного Знамени на широкой груди, бритая голова, ясные спокойные глаза. Его всегда раздражала всякая неаккуратность, неясность выражений.

Говорил он короткими, точными фразами. «Пуговица болтается, стало быть, и голова болтается»,— сказал он как-то про одного неряху, сидевшего за столом в замызганной гимнастерке. Он был веселый, легкий человек. Встречаясь с ним после утомительного рабочего дня, насыщенного всякими неожиданными неприятностями, я уже через несколько минут беседы с ним чувствовал себя отдохнувшим и бодрым. Как-то раз я зашел к нему домой. Он был в кабинете и перебирал какие-то бумаги. Потом передал мне три или четыре листка с текстом, напечатанным на машинке:

— Ты в этом деле понимаешь — прочти!

Я прочитал. Это были стихи.

— Ну как?

— Стихи неплохие. Размер правильный, хорошо рифмуются. А главное, чувства много. Если можно так выразиться — революционного запала. Видно, что писал молодой человек...

Николай Владимирович засмеялся:

— Автор постарше нас с тобой — это Валериан Владимирович. Хотя, если говорить о душе, она у него молодая. С утра до ночи на работе. Не может понять, что и возраст не тот, и силы не те... Да и тюрьмы и ссылки отняли здоровье и теперь сказываются...

Впрочем, в те времена так работали все. Фактически у коммунистов никакого точно установленного служебного времени не было, каждый работал, сколько требовалось. Вам могли позвонить по делу и в девять утра, и в девять вечера. Вы могли вернуться с работы домой и в семь, и в девять часов вечера или в одиннадцать и двенадцать часов ночи.

В связи с этим мне вспоминается забавный эпизод. Однажды, будучи у меня в гостях, за чаем, Николай Владимирович сказал:

— Нет, так нельзя. Надо иметь дачу. Торчим мы с тобой в городе летом. Надо, в конце концов, беречь силы. Давай-ка снимем дачу.

— Где же мы ее возьмем?

— Снимем где-нибудь. В Подмосковье бывают свободные дачи.

Дачу нашли. Это была большая двухэтажная дача на Клязьме с большим садом и отдельным домиком, где, по-видимому, когда-то жила прислуга. Все было запущено: и дом, и сад. В даче стояла когда-то богатая, а теперь обветшавшая и покрытая пылью мебель. Паркет, камин, стены тоже покрывал толстый слой пыли. Местный исполком охотно согласился сдать дачу в аренду. Но когда я прочитал договор, то почесал в затылке. Арендную плату нужно было вносить вперед за год, но, помимо этого, арендаторы обязывались привести дачу и сад в порядок и должным образом их содержать и отвечать за имущество, в ней находящееся. А имущества в ней было вдоволь, и некоторые вещи находились в таком состоянии, что только дотронься до них — и они сразу рассыпятся.

К моему удивлению, Николай Владимирович отнесся к этому довольно легкомысленно: «Ну приведем как-нибудь в порядок. Только нужно найти кого-нибудь, чтобы жил в домике, а то действительно дачу могут обворовать».

Договор мы подписали. Подумав, я обратился в одно из управлений Наркомвоена, с которым раньше был связан. Меня познакомили с командиром батальона,

вышедшим на инвалидность по ранению. Он был бы рад поселиться с женой за городом. Мы поместили его в отдельном домике, где он, кстати говоря, живет и сейчас.

Но нам никак не удавалось попасть на дачу. У меня был служебный автомобиль «по вызову», а не персональный. Нужно было ехать на дачу поездом, но на это времени не хватало. У Николая Владимировича машина была, но тоже не хватало времени. А мы уже наняли людей, кое-как привели сад и дачу в порядок.

Однажды я с женой приехал на дачу в воскресенье. Верхний этаж был мой, нижний — Николая. Почувствовали мы себя, как в гостинице. Продукты привезли, но дров на кухне нет, водопровод в даче еще не починили, нужно было воду таскать. Пошли к командиру в домик, сдали продукты, он нас угостил обедом. Недели через две приехали опять. Командир говорит:

— Приходили тут из райисполкома, все осмотрели, говорят: «Ничего, хорошо, дом, инвентарь, сад содержатся в порядке. А где жильцы?» Я им отвечаю: «Редко бывают».— «Странно, говорят, как-то, для чего же тогда они дачу снимают?» Знаете, Николай Александрович, вы бы хоть попросили пожить кого-нибудь...

— А Николай Владимирович бывает?

— Один раз приезжал, погулял по саду, зашел в дом, посмотрел: «Ну что же, дача в порядке...» И уехал.

— Тут же и уехал?

— Да, вскоре уехал. Едва уговорил его выпить стакан чаю.

На другой день ко мне на службу зашел драматург и поэт Михаил Петрович Гальперин.

— Михаил Петрович, ведь у вас жена, дети?

— А что?

— Сейчас лето. Не могли бы вы пожить хоть пару месяцев на даче в Клязьме. У меня там наверху пять комнат...

Михаил Петрович посмотрел на меня черными очами поверх пенсне весьма подозрительно:

— Да мне и трех хватит. А сколько вы за это хотите?

— Ничего не хочу. Не могу же я сдавать в аренду дачу, которую я сам арендую...

Михаил Петрович беспокойно задвигался на стуле.

— Соблазнительно, но, согласитесь, как-то странно... Бесплатно — и вдруг дачу...

— Да чего тут странного? Неудобно, что дача стоит пустая...

Михаил Петрович опять задвигался:

— Такое странное предложение. И дача в хорошем месте и, по-видимому, приличная. Вы разрешите, я с женой посоветуюсь и вам позвоню...

— Пожалуйста...

Приехав домой, я позвонил Николаю Владимировичу по телефону и все рассказал.

— Дача, какая дача? Ах, наша дача. Из исполкома, говоришь, приходили... А этот Гальперин человек приличный, советский? С Немировичем и Станиславским связан? Ну и пускай живет...

И он перешел на другую тему.

Когда годовой срок аренды кончился, мы написали,

что продлевать договор не будем, и передали дачу исполкому. Помещение, в котором жил бывший комбат, так и осталось за ним.

Однажды вечером Николай приехал ко мне. Поужинали. Против обыкновения, он был невесел... Я спросил, в чем дело.

— Дурацкая жизнь, с утра до вечера в работе. С братом неделями не вижусь — соскучился. Вот что, давай поедем к нему на дачу.

— Сейчас?

— Сейчас.

— Неудобно. Десятый час вечера. А мы приедем без предупреждения. Тебе удобно — ты брат, а я-то на каком основании вечером ввалюсь? Нет, уж лучше поезжай один.

— А я тебе говорю, что удобно. Ты Валериана не знаешь. Он будет рад. Да и от работы его отвлечем. Наверно, сидит дома над бумагами...

В конце концов я согласился. Вел машину Николай Владимирович блестяще, только, пожалуй, неслись мы слишком быстро. Помнится, ехали мы в Морозовку, хотя впоследствии В. В. Куйбышев имел дачу в Краскове. Уже стемнело, когда мы оказались перед оградой, возле которой стоял домик охраны. Ворота открыли, и мы въехали в большой двор, переходивший в сад. Во дворе стояло несколько неказистых двухэтажных дачек старой постройки. В даче Куйбышевых было темно. Только на втором этаже светилось открытое окно.

Николай вышел из машины:

— Пошли...

— Не пойду. Я лучше здесь посижу. Видишь, уже все спят.

Николай махнул рукой и скрылся в даче. Прошло минуты две-три, и в окне показалась характерная крупная голова Валериана Владимировича с выпуклым лбом и копной вьющихся волос.

— Чего же вы сидите? Поднимайтесь наверх!

Комната была скромная. В углу на письменном столе лежали груды бумаг и папок. Скоро на круглом столе появился чай.

Разговор велся о разных вещах и почему-то перешел на Платона Михайловича Керженцева и его книги о научной организации труда. В последней его книге было все: и как содержать письменный стол и бумаги в порядке, и как должен быть организован рабочий день, и как следует вести делопроизводство. Но при тогдашней «суете явлений» (выражение Г. В. Чичерина) у коммунистов не только не было нормированного рабочего дня, но и вся работа порой шла беспорядочно. Вызовы, нагрузки, заседания, неожиданные поручения приводили к тому, что дела откладывались со дня на день, да и отдыха настоящего не было. К тому же подготовка новых кадров шла медленно. В первые годы революции и в первые годы после гражданской войны вся огромная тяжесть руководства страной лежала на плечах старых партийцев и тех, кто стал на сторону Октября в период борьбы с белогвардейщиной и интервентами. Многие в этой борьбе погибли, другие в результате ранений стали почти неработоспособными. Здоровье старых большевиков было подорвано пребыванием в царских тюрьмах и ссылке, мытарствами в эмиграции.

«Количество это ничтожно потому,— говорил Владимир Ильич,— что интеллигентные, образованные, спо-

собные политические руководители в России были в небольшом количестве. Этот слой в России был тонок и за истекшую борьбу надорвался, переработался, сделал больше, чем мог»[1].

Валериан Владимирович внимательно слушал, потом сказал:

— Мы, конечно, унаследовали от старого привычки создавать большие бюрократические аппараты. А надо, чтобы административные аппараты были небольшими, гибкими и деловыми. Канцелярия не должна сидеть на шее у производства. И я стараюсь всеми способами сокращать эти аппараты, а людей отправлять на фабрики, заводы, в деревню. Нам не хватает квалифицированных рабочих, инженеров, техников, и это тормозит процесс индустриализации. И всюду во главе должны идти коммунисты. У коммунистов не может быть никаких привилегий, а только одни обязанности. И пока идет борьба за новое, а она будет продолжаться долго, ни о каком «точном распорядке дня» и «гарантированном отдыхе» для коммунистов говорить не приходится. Да и какой настоящий коммунист сможет покойно отдыхать, когда кругом идет борьба, жизнь бьет ключом, все находится в движении?..

Потом подумал и прибавил:

— Это не означает, конечно, что следует работать беспорядочно. План нужен на каждый день и даже на неделю, чтобы работа была продуктивной...

Через несколько минут, вдруг улыбнувшись, он спросил:

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, 5-е изд., т. 38, стр. 145.

— А вы помните наш разговор об истории фабрик и заводов?

Я-то помнил, но как он мог вспомнить о таком мелком факте? Десятки тысяч крупных вопросов, которыми Валериан Владимирович занимался, давно должны были заслонить этот ничтожный эпизод.

Видя мое удивление, он засмеялся.

— У большевиков, батенька мой, память должна быть настоящая, все на бумаге не запишешь. Так вот, говорил я по этому вопросу с Алексеем Максимовичем. Будет «История фабрик и заводов», и писатели будут над ней работать, и вы втянитесь, дорогой мой, дело-то это первостепенной важности...

Прошло несколько лет. И вот однажды — 26 января 1935 года, утром я открыл газету и прочитал: «Скончался Валериан Владимирович Куйбышев».

Страшное внутреннее возмущение вспыхнуло во мне против этой несправедливости, комок застрял у меня в горле. Ушел из жизни большой, честный, светлый и добрый человек, полный творческих сил.

С Николаем Владимировичем Куйбышевым мы продолжали встречаться довольно часто. Он сильно изменился после смерти брата. Стал менее веселым, часто задумывался. Как-то он сказал:

— Пусто стало после смерти брата... Как будто источник иссяк и живой воды не хватает...

Последний раз я видел Куйбышева в 1937 году, перед его отъездом в Тифлис на должность командующего Закавказским военным округом. Он был угрюм. Спросил:

— Ты ведь был в Закавказье после меня, ну как там, многое изменилось?

— Конечно, жизнь вошла в норму. Стала развиваться промышленность, возродилось сельское хозяйство. И потом юг, солнце, много жизнерадостных, веселых людей. Но, конечно, работы будет много, ведь это пограничный округ.

Николай Владимирович молчал... Вскоре мы попрощались. Больше я его никогда не видел. Он пережил своего старшего брата всего на три года.

Так и остались у меня в памяти и на сердце два светлых образа братьев-коммунистов: Валериана и Николая Куйбышевых.



РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАННЫЕ

5 февраля 1919 года советские войска заняли Киев. Первыми вступили в город Богунский и Таращанский полки во главе со Щорсом и Боженко. Из далекой Унечи, около нейтральной зоны, где собрались несколько рот украинских партизан, составлявших основное ядро этих полков, они совершили героический поход до Киева. Богунцы и таращанцы, громя отступающие немецкие части, офицерские отряды, корпуса гетманских сердюков и полки петлюровской Директории, как снежная лавина обрастая все новыми добровольцами, вошли в Киев. Наконец-то они увидели златоглавую украинскую столицу во всем великолепии ранней весны.

Со всех концов России, из обеих столиц и из южных городов, буржуазия и помещики бежали в Киев к гетману, под защиту немецких штыков. Пал гетман, пришла к власти Директория, которая удержалась в Киеве около пяти недель и бежала. Министры и члены Дирек-

тории, «атаманы» и «крупные полковники», в одну ночь ограбив все ювелирные магазины в городе, бежали в Винницу, захватывая паровозы, вагоны, автомобили, отнимая лошадей и сани у проезжих извозчиков. Убежала верхушка. Все же остальные застряли в городе.

Сиятельные князья, короли угля, сахара, хлеба, царские сенаторы и генералы шепотом передавали друг другу о том, что происходило вокруг: Одессу заняли союзники, Петлюра — в Виннице, Деникин двигается с Дона на Украину, не сегодня-завтра кто-нибудь из них будет здесь. А пока большевики закрепились в Киеве и двигались дальше на юг.

Петлюровцы, уходя из Киева, оставили весь свой пропагандистский аппарат в городе. На Крещатике, 25, в пятиэтажном здании помещалась УТА (Украинское телеграфное агентство). Продолжали выходить украинские газеты, печатавшие информацию этой же УТА. Большинство же буржуазных газет и издательств прекратили свою деятельность. Но их владельцы, надеясь на скорое возвращение Петлюры или на приход Деникина, старались сохранить своих сотрудников.

Я очень хорошо помню, как, поднявшись в дирекцию УТА и спросив заведующего, я ни от кого не мог получить ответа, потому что во всем здании не оказалось человека, желающего говорить по-русски. Наконец меня привели к «пану керуючему», который, посмотрев на мой мандат на русском языке, тоже заявил, что не понимает, о чем идет речь. Все это привело к тому, что в течение суток УТА перестала существовать и превратилась в БУП — Бюро печати и информации рабоче-крестьянского правительства Украины.

На пятом, верхнем этаже здания УТА до прихода советских войск помещалось правление украинского «Союза промышленности, торговли и финансов». Председатель его сбежал, оставив после себя мертвый и живой инвентарь — мебель, толстого лакея в баках и серой униформе и не менее толстого, брошенного на произвол судьбы старого бульдога.

Отдел осведомления правительства расположился на этом этаже, задачей отдела, или бюро, было получение всесторонней информации из разных источников. Информация эта предназначалась не для печати, а для осведомления Совета Народных Комиссаров УССР.

Отдел особого осведомления имел, естественно, в лице военных представителей БУПа информаторов на всех фронтах и при всех командующих до командиров бригад включительно.

В бюллетенях Отдела особого осведомления БУПа УССР, начиная с № 6, все больше уделялось внимания атаману Григорьеву.

Атаман Григорьев, в прошлом штабс-капитан царской армии, к концу войны входил в «стратегическую тройку» Украинского комиссариата Юго-Западного фронта в Бердичеве и активно боролся против большевиков. Потом он служил гетману, от него перешел к Петлюре и вербовал крестьян в свои отряды под лозунгом освобождения Украины от немецких оккупантов.

В свое время Григорьев предъявил немцам ультиматум, в котором требовал, чтобы они пешком отправились в Германию, оставив все вооружение и склады. Германское командование не обратило на это никакого внимания. Когда же части Красной Армии вступили в боевое соприкосновение с петлюровскими на его

фронте, Григорьев перешел на сторону советской власти.

В бюллетене № 6 Отдела особого осведомления БУПа дается следующая характеристика «атамана Григорьева»: «Григорьев производит впечатление человека бесстрашного, с огромной энергией, крестьянского бунтаря. Среди крестьян Григорьев популярен. К горожанам относится скептически. Штаб Григорьева состоит из украинских левых эсеров (начальник штаба — Тютюник), так же как и командный состав. Партизанские войска преимущественно из крестьян. Себя Григорьев считает беспартийным».

Отряды Григорьева вошли в состав Красной Армии в качестве 3-й бригады 2-й советской дивизии.

Бригада его росла за счет наплыва перебежчиков от Петлюры. Став командующим «советскими войсками Херсонской группы», Григорьев 10 марта занял Херсон, 14-го — Николаев и начал наступление совместно с другими частями на Одессу. 15 марта начались бои за Березовку. Здесь были сосредоточены французские, греческие, деникинские, петлюровские и белопольские части. Ожесточенные бои эти кончились разгромом интервентов и петлюровско-деникинских частей. Григорьев захватил большие трофеи — винтовки, орудия, танки (один из них был послан в Москву В. И. Ленину), бронепоезд, составы с военным имуществом.

Основная причина побед Григорьева заключалась в нежелании иностранных, в первую очередь французских, солдат воевать против советской власти и в стремлении украинских рабочих и крестьян освободиться от интервентов. Так было в Херсоне, где 176-й французский полк отказался сражаться, а матросы крейсера

«Жюстис» с революционными песнями прошли по городу и освободили заключенных из тюрем. Так было и в Николаеве, и под Березовкой, где французы не поддержали греков, петлюровцев, деникинцев. Греки одними убитыми потеряли свыше 600 человек.

Но победы вскружили голову Григорьеву и его командирам. Популярность его на Украине усиленно раздувалась украинской прессой, в которой в 1919 году подвизалось немало скрытых петлюровцев и украинских эсеров.

Военный информатор Отдела особого осведомления БУПа после занятия Березовки прислал специальным нарочным крайне тревожное донесение. Сообщая о почти полном отсутствии политработников и литературы, о недостатках в снабжении, он особое внимание уделял настроениям повстанцев из числа бывших солдат, на которых опирался Григорьев. Разговоры о том, что «коммуны» не нужны, а надо «создать» крестьянскую власть, антисемитизм, по словам корреспондента, весьма распространены. Далее он рассказывает об эпизоде, когда при обсуждении вопроса о правильном распределении оружия между частями («у одних винтовок с излишком, у других не хватает») командир одного из полков заявил: «У меня, правда, имеются лишние винтовки, но я сохраняю их до того момента, когда придется применять их против партии коммунистов-жидов». Рассказывая о том, что расположенный в селе Березовка 15-й полк бригады Покуса, действующей вместе с частями Григорьева, состоит из солдат, занимающихся преимущественно грабежами, насилиями и заражающих своим примером остальные части, автор донесения подчеркивал, что во главе этого полка

стоит некий Козырев, именующий себя «полковником». Все это делается на глазах у Григорьева и кажется более чем странным, ибо «атаман» обладает энергией и решительностью (в Николаеве он застрелил на месте матроса-мародера).

Автор донесения приходил к такому выводу: «Предстоят большие трения и, может быть, даже кровавые события».

По получении этого донесения к Григорьеву немедленно выехал один из лучших работников БУПа, член Высшей военной инспекции, смелый и кристально честный коммунист С. А. Винокуров. Но вот прошло уже недели две, а от Винокурова все еще не было никаких сообщений.

6 апреля Григорьев занял Одессу. Сделать это было, в сущности, нетрудно, ибо к этому времени союзники, убедившись в полном разложении своих войск, решили эвакуировать город, а Одесский ревком, создав сильные вооруженные рабочие отряды, фактически захватил город уже 4 апреля. В день занятия Одессы пришла телеграмма, что Григорьев со своими командирами устроил грандиозное пьянство в здании вокзала и что, судя по многим признакам, его разложившиеся части могут вызвать беспорядки в городе.

К вечеру того же дня я имел предписание отправиться в Одессу.

Часов в одиннадцать, получив пропуск у коменданта вокзала, я начал обходить пути в поисках состава с указанным мне номером вагона. Наконец обнаружился одинокий салон-вагон, прицепленный к паровозу, уже разводившему пары. У входа стоял часовой с винтовкой, одетый довольно живописно: короткий жупан, кубанка

с пришитой к ней алой лентой, красные галифе и сапоги со шпорами.

Я предъявил ему пропуск. Отстранив его рукой, он закричал:

— Куда лезешь?

Видя, что разговоры бесполезны, я оттолкнул его в сторону и вошел в вагон. Пока я шагал по коридорчику в салон, двери купе начали одна за другой открываться и из них стали выглядывать фигуры, весьма похожие на часового у вагона. Очевидно, это была охрана. В салоне меня встретил угрюмого вида военный среднего роста, с бородкой и коротко подстриженными усами.

— Что вам угодно?

— У меня есть предписание на проезд в этом вагоне.

Он насторожился.

— А куда вы едете?

— В Одессу.

Мне показалось, что голос его стал мягче.

— Ваш мандат?

В те времена мандаты писались не менее чем на страницу. Чего только в них не было — начиная с «права пользоваться всеми телеграфными и телефонными проводами» и кончая угрозами «привлечения к ответственности лиц, которые не будут оказывать содействия предъявителю сего».

— Я думаю, что предписания на следование в этом вагоне достаточно!..

— Почему именно в этом вагоне?

Он посмотрел предписание.

Мне стал надоедать допрос.
— Потому что он уходит в Одессу раньше других...
Он вернул мне бумажку.
— Ну что ж, располагайтесь!
Я снял фуражку, поставил чемоданчик около кресла, сел и закурил.
Человек с бородкой подошел к столу, на котором горела лампа под зеленым колпаком и лежала раскрытая книга, уселся в другое кресло и стал читать.
Паровоз пронзительно засвистел, и мы поехали. Из купе доносилась украинская песня, которую пели хором мужские голоса.
Уже несколько суток я мало спал и теперь чувствовал, что мною овладевает непреодолимая дремота.
Вдруг хозяин вагона встал.
— Подождите, вам очистят место в купе.
Он вышел в коридор, и я увидел, как из одного купе в другое перешли с вещами несколько бойцов, небрежно одетые и явно нетрезвые.
Двухместное купе оказалось пустым. Но в каком виде оно было! Только что опорожненные бутылки из-под водки стояли на полу и на столике, здесь же валялись огрызки колбасы и сала, куски хлеба. Я закрыл дверь на замок, укрылся шинелью, положил наган под подушку и мгновенно заснул.
Проснулся я на какой-то большой станции. Стояло прекрасное солнечное утро. Все было залито светом и наполнено весенним теплом, ароматным воздухом. Вагон был отцеплен и поставлен далеко от вокзала. Среди товарных составов видны были некоторые, разбитые снарядами.
Я достал из чемоданчика еду и, выглянув в коридор

в поисках кипятка, наткнулся на часового, стоявшего у входа в вагон во время посадки в Киеве.

Увидев меня, он улыбнулся во весь рот.

— Ну, як почивали?

— Спасибо, хорошо. Нет ли у вас кипятку?

— А может, чарку горилки?

— Нет, с утра не пойдет...

Он пошел в соседнее купе и принес чайник. В другой руке у него была начатая пачка липтоновского чая.

— Это откуда же?

— Хранцузский... В Херсоне забрали.

Пока я пил чай в купе, по коридору протопал чубатый партизан и раздался возглас:

— Атаман на проводе!

В тот же миг военный, с которым мне пришлось накануне объясняться, выскочил без фуражки из вагона и, перелезая через платформы, скрылся в направлении вокзала.

Я спросил у бойца, снабжавшего меня кипятком и чаем:

— Ваш начальник какую должность занимает?

Тот удивился:

— Хиба ж вы не знаете? То ж начальник штабу атамана Григорьева — Тютюник...

Теперь уже мне пришлось удивляться. Я закурил и стал раздумывать. Кроме секретных документов с характеристиками Григорьева, его штаба и некоторых командиров, не было никаких официальных указаний насчет того, как следует держаться по отношению к ним. Это можно было выяснить только в Одессе, где находился Григорьев.

Около вагона послышались крики: двое «хлопцив»

из охраны Тютюника вели куда-то под конвоем машиниста.

Через несколько минут вернулся в вагон сам Тютюник. Он был бледен и казался озабоченным.

— Не знаете, скоро ли прицепят паровоз? — обратился я к нему.

— Сейчас поедем...

Он вынул пачку папирос, распечатал ее и стал закуривать. Мне показалось, что руки его дрожат.

Послышалось фырканье паровоза, вагон толкнуло, качнуло... и мы двинулись.

Тютюник расхаживал по салону. Я стоял в коридоре и смотрел в окно. То тут, то там попадались разрушенные артиллерийским огнем здания. Недалеко от колеи, на проселочной дороге, валялись разбитые французские грузовики и легковая машина. Рядом с ними — французские синие стальные каски. Трупы, видимо, уже зарыли... Потом паровоз набрал скорость, и мы понеслись мимо расцветающих деревьев, белых хат, окруженных весенними садами, и полей, над которыми, радуясь весне, звенели жаворонки.

«Как чудесен, странен и страшен мир,— думал я.— Вот рядом со мной ходит человек. Что у него в голове? Может быть, лучше его застрелить и этим избавить от страданий множество других людей. А возможно, все это чушь и Тютюник — обыкновенный, рядовой командир, каких множество. И не думает ли он о том же: что не мешает на всякий случай убрать меня...»

Но Тютюник был, по-видимому, занят другим и продолжал расхаживать по вагону...

Я почувствовал, что оставаться одному с моими мыслями невозможно, и зашел в салон.

— Не известно ли вам, когда мы прибудем в Одессу?

— Не знаю. А в чем дело?

— Я тороплюсь.

Он посмотрел на меня в упор.

— И я тоже... А зачем вы, собственно, туда едете?

— На свидание с девушкой.

Он удивился и впервые произнес фразу, в которой сказалось его офицерское происхождение:

— Изволите шутить!..

— Нисколько. Война идет, но и жизнь продолжается. Весной это особенно чувствуется.

— И что же, она будет вас встречать?

— Обязательно!

— Как же она узнает о вашем приезде?

— Получив направление в ваш вагон, я протелеграфировал его номер в Одессу...

— Но откуда же она узнает о времени его прибытия?

— Узнает... Ей сообщат... Если угодно, могу ее с вами познакомить, у нее есть подруги... Можно повеселиться час, другой...

Он задумался.

— К сожалению, маршрут изменился, я еду дальше...

— На фронт?

— Да, на фронт...

И отошел к столу, не желая продолжать разговор.

Я вернулся в свое купе. Очевидно, что-то произошло, думал я. Ведь в Киеве мне было ясно сказано, что вагон идет только до Одессы! Но что же именно произошло?

Когда мы подъехали к Березовке, удивительное зрелище открылось перед нами. Вокзал был разрушен, как и многие здания вокруг него. На перроне лежала огромная белая куча — это были юбки греческих солдат. На путях валялось множество порванных и целых документов — удостоверения греческих, французских и сербских солдат. Вокруг станции было много разбитой техники — орудия без замков, перевернутые, исковерканные машины, повозки, виднелись свежие, недавно вырытые окопы. Все говорило о том, что здесь происходил ожесточенный бой...

Подростки — мальчики и девочки, босые и уже успевшие загореть,— бродили по полю недавней битвы, что-то разыскивая и собирая в мешки. Их веселые перекликающиеся голоса и маленькие фигурки казались странными на фоне этой картины разрушения.

Почти все станции, попадавшиеся нам на пути, были разрушены,— бои шли вдоль железнодорожной линии. Но как быстро возрождалась жизнь! Железнодорожники выходили на перрон и передавали эстафету. Иногда попадались женщины, продававшие сало, молоко, семечки...

На одном полустанке, где мы задержались на несколько минут, старик копался в маленьком садике. Сирень уже распустилась, и ее одуряющий аромат проникал в открытые окна вагона. Чем ближе мы подъезжали к Одессе, тем меньше было разрушений. И когда вагон медленно подошел к главной платформе одесского вокзала, она была полна народу. Глядя на веселых, оживленных женщин в летних платьях и мужчин в белых костюмах, трудно было представить, что еще несколько дней назад десятки тысяч иностран-

ных солдат, вместе с белогвардейскими отрядами, под натиском частей Красной Армии поспешно покидали этот город.

Однако сквозь огромные окна ресторана виден был пустой зал с перевернутыми в беспорядке стульями и столами. На всех путях стояли воинские составы; командиры и бойцы в самом разнообразном и подчас фантастическом обмундировании разгуливали по платформе.

Тютюник стоял в коридоре и отдавал какие-то распоряжения двум лихим кавалеристам в синих жупанах и с нагайками в руках, вскочившим в вагон на ходу.

Я всматривался в людей, толпившихся на перроне, и наконец увидел поспешно шагавшего Федора Тимофеевича Фомина — высокого, худого, затянутого в ремни, в его неизменном френче со стоячим, наглухо застегнутым воротником. За ним следовал матрос огромного роста и необъятной ширины, с карабином на ремне и двумя гранатами и маузером за поясом. На его бескозырке выделялась крупная надпись: «Гроза контрреволюции».

Они шли, и толпа раздавалась перед ними. Фомин посмотрел немигающими глазами на вагон, на часового с винтовкой, который шарахнулся в сторону, и медленно поднялся по ступенькам в коридор.

Тютюник глянул на него и сказал:

— А вот и невеста пришла!..

— Что?— спросил спокойно Фомин, и матрос немедленно выдвинулся немного вперед, положил огромную руку на рукоятку маузера.

Я не выдержал, обнял Фомина, взял чемоданчик и приложил руку к козырьку:

— До свидания, начальник штаба...

— До свидания, «жених»,— ответил Тютюник.

— Чего это он дурит?— Фомин уже нахмурил брови.

Тот, кто жил в годы гражданской войны, когда, случалось, комиссар получал пулю от своего командира (как было с Виллером и другими) или вынужден был сам застрелить его за измену, помнит, что значили тогда настоящая дружба и вера в человека. Мне казалось, что я с Фоминым никогда не расставался.

Мы сели в машину. Рядом с шофером я увидел второго матроса, увешанного оружием, и невольно усмехнулся.

— Ты не усмехайся,— сказал Фомин,— это не город, а змеиное гнездо...

— Почему же?

— Во-первых, контрреволюция не успела выехать, почти вся осталась. Во-вторых, бандитизм полный. Мишка Япончик сидит на Молдаванке, имеет телефонную связь и агентуру. У него не менее чем полтысячи бандитов. В-третьих, сам комендант — вор и мошенник.

— То есть как это? Наш советский комендант?

— А чей же, ясно, что наш...

— Что же ты его не берешь?

— Сразу всех не возьмешь... Ты ко мне или в гостиницу?

— В гостиницу...

— А не лучше ли ко мне?

— Нет, мне надо осмотреться... Как говорится, со стороны виднее... А где Григорьев?

— Три дня пьянствовал на вокзале. Бандиты его

всё перебили, запакостили. А потом ушел в Александрию. Сегодня туда уходят его последние части...

— Почему?

— А кто знает! Наверху виднее...

— Но ведь его войска должны наступать на Румынию?

— Что ты меня спрашиваешь, я не главнокомандующий, он передо мной не отчитывается...

Одетые в зеленый наряд одесские улицы были залиты вечерними огнями. Из бесчисленных ресторанов, кабаре, кафе доносилась музыка. Несмотря на поздний час, магазины торговали. На всех углах продавали цветы. Тротуары заполняла южная, шумная толпа. Мы подъехали к Лондонской гостинице.

— Подожди минутку,— сказал я Фомину.— Я только возьму номер и сейчас же выйду...

— Иди, иди,— сказал он, усмехаясь.

Я прошел в подъезд, перед которым стояли несколько хорошо одетых бездельников, занятых болтовней, и направился к портье.

Он был похож на грека. За конторкой я увидел черные, как маслины, глаза, нос удивительной формы, усы, кончики которых свисали вниз, и огромный живот, стянутый пикейным жилетом под люстриновым черным пиджаком.

— Сто вам угодно?

— Мне нужен номер...

— Все занято, ницего нет...

И он ткнул толстым пальцем в доску с фамилиями жильцов.

Я подошел к доске и ахнул, читая одну за другой надписи: № 1 — первой гильдии купец С. Я. Рубин-

штейн; № 2 — присяжный поверенный С. Н. Трегубов; № 3 — генерал-майор М. Н. Васильев...

— Как, и генерал здесь живет?

— Зивет...

— Так не будет номера?

— Нет!

Я вернулся к Фомину.

— Это же черт знает что! Там какие-то купцы и генералы номера занимают...

— Ну и что же... А куда их денешь?

— Ты не знаешь куда?

— Не сразу. Сначала надо снять сливки, а потом пить молоко. Всех в один день не возьмешь...

Он обернулся к матросу:

— Пошли!

Втроем мы вернулись в гостиницу. Фомин покосился суровыми глазами на грека:

— Ко мне!

Грек мелкими шажками подбежал к нам. У него оказались маленькие короткие ножки в полосатых брюках и лаковых туфлях. Фомин подошел к доске и ткнул пальцем в № 1:

— Он первой гильдии купец?

— Первой. Все снают, сто первой...

— Так. Соединить с генералом.

— Как соединить?

— Возьмешь генерала и переведешь в комнату к купцу. Пускай живут пока вместе...

Грек от изумления застыл.

— Оба вместе?

— Ясно, что оба.

Фомин повернулся к матросу:

— Осуществи!..

— Поехали!— сказал матрос греку и легонько подтолкнул его ниже талии.

Грек с необычайной легкостью понесся вперед. Матрос зашагал за ним по коридору.

— Выйдем на свежий воздух,— сказал Фомин,— не могу я на эти рожи смотреть...

Мы вышли на бульвар. Прямо перед гостиницей полукружием высился над морем ресторан. Оттуда доносились пьяные голоса.

— Гуляют...— Фомин закурил папиросу.— Пускай последние дни погуляют, скоро перестанут...

На рейде, видимые невооруженным глазом, стояли корабли, сияя бесчисленными огнями. Их были сотни — крейсера и миноносцы, пароходы, парусные суда, баржи... Французские, английские, греческие — флаги всех цветов слегка колыхались на ветру.

— Эскадра интервентов не уходит?

— И не собираются! Да и того мало. Они захватили четыреста двенадцать наших крупных судов, не говоря уже о малых. Увезли все, что успели, захватили добровольцев, виднейших деятелей контрреволюции и капиталистов. Только все это было в спешке — многие не попали на суда.

— Ну, а сейчас корабли для чего стоят?

— Во-первых, чтобы помешать подвозу продовольствия, нефти и угля в город. Во-вторых, они требуют, чтобы им разрешили взять еще несколько сот человек по списку, якобы иностранноподданных, не успевших эвакуироваться. Просмотрел я этот список. Ивановы да Петровы оказались иностранноподданными. Кстати, снял копию. Смотрю, многих пропустил. Теперь подби-

раю понемножку. Кроме того, французское командование заявляет, будто здесь суда стоят для того, чтобы предупредить кровавый террор и резню в городе...

— Что же, с ними ведут переговоры?

— Да, из исполкома ездили Фельдман и другие. Между прочим, удается подбрасывать литературу французским морякам. Вот стоит большой крейсер «Жюстис». Там матросы все за большевиков. Они в Николаеве тюрьму открыли и отказались выступать против нас...

— А все-таки стоят!

— Каждому хочется вернуться домой, во Францию, а некоторых, самых левых, уже изолировали. Кроме того, многие и у нас остались...

В это время показался матрос.

— Товарищ Фомин, все в порядке!

— Сегодня уже поздно, а завтра с утра приходи ко мне,— покажу тебе свое хозяйство. Тут недалеко, на Херсонской.

Фомин повернулся к матросу:

— Вася, поехали!

Я был голоден и решил пойти в ресторан, который стоял над морем. Столик на краю веранды только что освободился. Кругом сидели упитанные, хорошо одетые люди. Очень много было красивых женщин-южанок, той яркой красоты, которую редко встретишь в наших северных городах.

Мне показалось, будто сидевшие за соседними столиками не то избегают на меня смотреть, не то просто отворачиваются, но я не придал этому значения. Мимо пробежал официант. Я окликнул его, но он не остановился. Увидев на соседнем столе прейскурант, я

попросил разрешения его взять. Мне никто не ответил. Я взял карточку, и тогда толстый человек в панаме и с ярким галстуком вдруг привстал.

— Па-азволь-те!

Все это мне надоело, и я уже жалел, что зашел сюда. Но уходить теперь было глупо.

Наконец я увидел метрдотеля, подошел к нему и заказал еду и бутылку пива. Он пожал плечами:

— Обратитесь к официанту!

— Вот что, голубчик, чтобы через десять минут все было на столе!..

Он посмотрел на меня и быстро пошел на кухню.

На темном небосклоне, сливавшемся с морем, попрежнему покачивались тысячи электрических огней, похожих на звезды. На каком-то судне отбивали склянки. На другом почему-то протрубил горн. Откуда-то из-за угла здания появилась лодка. В ней сидели четыре человека. Двое почти неслышно гребли. Лодка вышла из полосы света и исчезла в море. Вдруг раздались крики: «Стой!» Грянули выстрелы. Моторный катер понесся вслед за лодкой. Все сидевшие за столиками у барьера вскочили со своих мест. Молодой человек с подстриженными усиками и пробором почти до шеи сказал:

— Догонят!

Пожилой мужчина бравого вида, сидевший вместе с юношей, покачал головой:

— Едва ли! Тут недалеко...

Принесли еду. Поужинав, я спросил, сколько с меня следует. Официант перебросил салфетку через руку.

— Какими будете платить?

— Советскими, конечно...

Он вынул карандаш и начал что-то высчитывать.

— Пятнадцать рублей!

— Как же вы рассчитываете?

— Советские — как трезубцы или керенки, а николаевские в полтора раза дороже...

В полном недоумении я вернулся в номер. Его освободили, но не убрали. В пепельницах торчали папиросные окурки. В ночном столике лежала забытая книга «Ее крейцерова соната». Из дневника г-жи Позднышевой. Киев. Издательство Иогансона. Видимо, генерал был весельчак...

Утром я вышел на бульвар. Теперь корабли были видны совершенно отчетливо. Матросы в синих бескозырках с красными помпонами или в белых круглых шапочках мыли пылубу. На других судах видны были мужчины и женщины, сидевшие вокруг чемоданов и узлов. На корабле с надписью «Ропит» находилось множество русских офицеров. Одни суда уходили, другие приходили. Между находившимися на рейде сновали моторные лодки под иностранными флагами. Тут же на бульваре стоял старик с телескопом на треноге, в который по вечерам рассматривают звездное небо. Сейчас старик предлагал желающим за полтинник посмотреть на корабли.

Ближе всех покачивалась серая громада броненосца «Жюстис»; орудия были направлены на город.

В магазинах еще оставалось много импортных товаров. Зайдя в табачную лавку, я увидел рядом с пачками сигарет «Капораль» и папирос «Дюшес» круглые синие коробки «Кэпстена». На сто рублей я купил запас табачных изделий месяца на два.

На Херсонской в особняке помещалось «хозяйство»

Фомина. Он с гордостью повел меня сначала во двор. Там стояли лошади кавалерийского взвода. Очень красивая, стройная и сильная девушка в красноармейской форме чистила скребницей великолепную английскую кобылицу. Везде была идеальная чистота.

Потом мы прошлись по кабинетам и наконец спустились в полуподвальный этаж. Красная дорожка, заглушавшая шаги, тянулась вдоль коридора. По ней прохаживались надзиратели с ключами.

Фомин остановился перед первой камерой.

— Открой-ка!

Дверь распахнулась. В чистой комнате, с кроватью, столиком и табуреткой, сидел генерал и читал книгу.

Генерал был такой, каким показывают генералов режиссеры в провинциальных театрах: стриженный ежиком, с красным носом, выпученными глазами, усами с подусниками, в серой куртке с красными отворотами и брюках с лампасами.

Генерал встал.

— Жалобы есть?

— Нет...

— Питание как?

— Удовлетворительное...

— Обращение?

— Пока приличное...

— Заявления имеете?

Генерал сделал шаг вперед.

— Имею!

Фомин склонил голову набок.

— Слушаю.

— Прибыв в Одессу, я проживал здесь, не состоя ни на какой службе...

— Почему?

— Я генерала Деникина не признаю, как не признавал и генералов иностранных армий...

— Так-с. А советскую власть признаете?

— Тоже не признаю...

Фомин удивился:

— Значит, вы того, анархист?

Генерал налился кровью.

— Я мо-нар-хист! И поскольку государь-император отрекся, а потом скончался, я никакой власти не признаю. Почему же меня держат?

— Вот именно поэтому...

— То есть как поэтому?

— Генерал, а простой вещи не понимаете. Неизвестно, к какой категории вас отнести. Если бы вы были действующий контрреволюционер — это одно. А вы контрреволюционер без проявления активности. Так сказать, редкий экземпляр пассивного монархиста. И притом высокого ранга — генерал-от-инфантерии. Категория неясная. Пока читайте книги!

Когда дверь закрылась, Фомин с огорчением сказал:

— Видишь, какой попался! Только камеру занимает. И выпустить его нельзя, и толку от него никакого. Надо проверить, не состоял ли он в местном «Союзе русского народа» у Крупенского и Яворского. Ну, зайдем еще в одну...

В другой камере сидел выхоленный, солидный мужчина с манерами европейца. Он слегка привстал и поклонился. Фомин обратился к нему:

— Ну, что будем делать? Сидеть будем или выходить?

Мужчина вскинул пенсне в золотой оправе на нос.

— Я вас не понимаю, вы же все забрали!

— И я вас не понимаю. Вашей собственной рукой была составлена опись валюты. Половины не хватает!..

— Но она у компаньона!

— А компаньон где?

— Если бы я знал!

Фомин покачал головой.

— Ну и упорный же вы контрик. Неужели вы нас за дураков считаете? Я за вами несколько дней наблюдал. Компаньон накануне ареста ужинал с вами.

— Так то было накануне...

— Вот что, господин хороший, представьте себе, что ваш компаньон нашелся и валюта тоже. Я вас выпускаю, и будете вы служить в советском учреждении под наблюдением, конечно, но нормально, как все.

— А если не найдется?

— То я и компаньона, и остальную валюту сам найду. Посмотрите на меня внимательно!

Господин уже поверх пенсне взглянул на Фомина.

— Похож я на легкомысленного человека? Нет. Послушайте-ка меня! Вы Евгению Марковну знаете?

Господин вскинулся.

— При чем тут Евгения Марковна?

— А при том, что она не только с вами, а и с вашим компаньоном жила...

Господин вскочил — он был в визитке, в рубашке, но без галстука и воротничка, в полосатых брюках — и заходил по камере. Потом остановился.

— Этого не может быть!

— Именно так. И если я доставлю ее сюда, то через

полчаса все будет: и компаньон, и деньги... Так что уж лучше по-хорошему...

Господин схватился за голову.

— Может быть, мы и найдем компаньона...

Фомин улыбнулся.

— Вот так-то лучше!

Когда мы вышли, Фомин сказал:

— Видишь, так и уговариваю целый день. Вожусь, как с детьми. Конечно, настоящая контрреволюция — это другой материал. Их тут тысячи работают секретно. Но как? Он первый, подлец, нацепит красный бантик и придет сам в советское учреждение: готов служить. У него и автобиография и документы — все заготовлено. Его нужно найти и раскрыть. В этом и заключается наша настоящая работа. Но и тех, что ты видел, полон город. Приходится их сначала процеживать, потом высылать. На все нужно время, нужны люди. Никогда не было такой нагрузки... Спим урывками, между делом... У тебя ко мне вопросы есть?

— Есть.

— Ну, пошли ко мне...

В кабинете Фомина, очень скромном, ибо он искренне был убежден, что роскошь и всякие соблазны придуманы буржуазией главным образом для разложения пролетариата, мы разговорились. Я задавал ему вопросы. Но, к сожалению, не получал на них точных ответов.

Венгерская советская республика изнемогала в борьбе с врагами. Чтобы ее спасти, рабоче-крестьянское правительство Украины объявило Румынии войну и дало распоряжение своим войскам перейти границу. Предполагалось кратчайшим путем прорваться в Венг-

рию. Эту задачу должны были выполнить в первую очередь части Григорьева. Речь теперь шла не о «тяготении к Румынии». Спасение единственной Советской республики в центре Европы могло бы сыграть решающую роль во всем соотношении сил неустойчивого послевоенного мира. Но эта идея не была доведена до красноармейских масс. Части Григорьева состояли из крестьян и партизан — бывших петлюровцев. Григорьев старался не брать рабочих и горожан и под любым предлогом отсылал в тыл или откомандировывал коммунистов.

По мере того как приближалось время сбора урожая, вопрос о продразверстке из теоретического превращался в практический. Крестьяне к продразверстке относились отрицательно, отчасти потому, что разъяснительная работа в деревне была поставлена плохо. Об отношении своем к советской власти крестьяне иногда говорили, что они за «большевиков», но против «коммуны». Если их спрашивали, как они понимают «коммуну», никто из них толком ответить не мог. Антисоветские элементы, подготовлявшие мятежи, усиленно разъясняли, что в «коммуне все будут забирать и делить между собой поровну». Не понимали крестьяне также, почему большие имения превращают в совхозы.

Неустойчивость обстановки, необходимость все усилия сосредоточить на борьбе с деникинцами, петлюровцами и белополяками не давали возможности поставить как следует снабжение деревни необходимыми товарами и организовать совхозное хозяйство. Отсталые элементы, подстрекаемые кулачьем, говорили: «Нам не дали и сами не умеют хозяйствовать». Все эти ошибки,

исправленные в следующем году партией, тогда, в 1919 году, только что начали сказываться.

Конечно, у Фомина было много данных о безобразиях в григорьевских частях. Но Григорьев, расстреливая иногда отдельных бандитов в своих частях за грабежи или насилия, создавал иллюзию, будто он борется с такими явлениями. Пока было известно только, что он со своим штабом выехал в Александрию, где находился его лучший полк — Верблюжский.

Не было ясной картины о настроении крестьянства в районе. Только насчет богатой колонии немецких кулаков можно было с уверенностью сказать, что это потенциальные враги.

Город был разработан хорошо. Впрочем, в Одессе было слишком много рабочих, коммунистов и моряков, чтобы опасаться каких-либо неожиданностей.

От Фомина я отправился в только что развернувшееся отделение БУПа. И здесь не хватало определенности. В Одессе, как и в Киеве, нашлось немало честной интеллигенции, которую можно было привлечь к работе. Следовательно, в корреспондентах и информаторах недостатка не ощущалось. Но район, армейские части и села освещались в печати слабо. Общее впечатление складывалось такое, что в случае восстания Григорьева крестьянство активно его не поддержит, за исключением отдельных кулацких очагов. Следовало немедленно составить подробную карту сельских местностей всей Украины, которая точно показывала бы, где находятся преимущественно кулацкие районы, а где преобладают середняки, бедняки, и соотношение всех этих групп. Затем надо было проверить настроение в каждой сельской точке с учетом расположения наших

воинских частей. Фактически почти все войска были на границах Галиции и Румынии, а также на деникинском фронте — в Донецком районе. Составление такой карты с точным обозначением данных о появлении банд имело бы огромное значение. Но для этого требовалось время. Впоследствии это было сделано.

К себе я возвращался вечером. Глядя на людей, которые заполняли не только тротуары, но и шли по краю мостовой или оживленно беседовали в подъездах, под деревьями, на скамейках бульваров, видя набитые до отказа рестораны и кафе, я становился не веселее, а мрачнее. «Неужели,— думал я, глядя на эту оживленную толпу,— люди не понимают, что враг стоит на рейде, а, может быть, завтра появится и на подступах к Одессе, что город, лишенный подвоза продовольствия с моря, вскоре испытает огромные лишения?» Но, казалось, в этот вечер никто об этом не думал. Попадались одинокие женщины, весьма бесцеремонно останавливавшие мужчин, и типичные уличные завсегдатаи, торчавшие на углах. Прошла большая группа французских матросов, которые остались в Советской России. В толпе иногда слышалась греческая, болгарская, румынская, еврейская речь.

В открытом экипаже, запряженном парой лошадей, проехал комендант Домбровский, в черкеске и папахе с красным верхом, сопровождаемый эскадроном. Все всадники были одеты в черкески одного цвета, сидели на лошадях одной масти и имели одинаковое оружие — шашки, кинжалы и карабины.

Это пышное войско не сделало ни одного выстрела, когда через несколько дней коменданта арестовали за злоупотребления.

Повидавшись на другой день с секретарем исполкома А. Фельдманом, окрвоенкомом А. Кривошеевым, замгорвоенкома Я. Ядровым и прибывшим в Одессу с военной инспекцией В. Юдовским, я вечером выехал в Киев, поскольку никаких указаний о заезде в Александрию не получил.

Позиция Григорьева определилась очень скоро. Еще накануне командующий Украинским фронтом В. А. Антонов-Овсеенко, посетивший Григорьева и прибывший потом в Одессу, убеждал Юдовского, Щаденко и Кривошеева, что их недоверие к Григорьеву является результатом паникерства и непонимания необходимости использования попутных революции сил. Во время этого довольно горячего спора, проходившего в штабе армии в здании судебных установлений близ Одесского вокзала, дежурный по телеграфу сообщил, что атаман Григорьев просит командующего к аппарату. В. А. Антонову-Овсеенко пришлось первому ознакомиться с текстом атаманского «Универсала». В нем атаман обещал «свободу торговли, охрану частной собственности» и «Советы без коммунистов». Части Григорьева продвигались быстро. 11 мая мятежники, захватив Кременчуг и Екатеринослав, двинулись на Харьков. 12 мая полки Григорьева дошли до Золотоноши и открыли направление на Киев. 15-го и 16-го они вошли в Херсон и Николаев. Успех Григорьева объяснялся отсутствием советских войск на пути его движения и пассивностью крестьянства. Кулаки, конечно, ему сочувствовали. Середняки колебались между ним и советской властью. Некоторые города объявили себя «нейтральными». Но появление григорьевских банд сопровождалось такими грабежами и зверствами, что вся Украина пришла в

движение. Множество добровольцев записывались в ряды Красной Армии. Пришлось снять некоторые части с границы, ослабить дивизии, сражавшиеся с деникинцами и петлюровцами. С «григорьевщиной» было покончено в две недели. Григорьев бежал к Махно, стал его «союзником», но вскоре был убит махновцами. Тютюник бежал к Петлюре и впоследствии сделался его правой рукой. Но мятеж Григорьева, так же как и измена Махно, ушедшего с деникинского фронта и обнажившего участок шириной в 50 километров, имел тяжелые последствия. Кавалерийский корпус Шкуро обрушился на тыл и фланг 13-й армии, разорвав ее связь с соседней 8-й армией. 24 июня Харьков был занят белыми.

Левобережье Украины захватывал Деникин, в районе Екатеринослава и Херсона действовали махновцы, а все Правобережье истекало кровью от бандитских погромов. Если с 1 апреля по 1 мая 1919 года из девяноста трех контрреволюционных выступлений на Киевскую губернию приходилось тридцать четыре, то за первую половину мая из двадцати восьми выступлений на киевский район приходилось тринадцать, то есть почти половина, а с 15 по 30 мая — три четверти.

Зашевелились белополяки в районе Сарны — Ровно.

Петлюровцы, получив значительное подкрепление из Галиции, от обороны перешли в наступление.

В самом Киеве стало тревожно. 1 июня 1919 года в связи с декретом ВЦИКа о военно-политическом единстве три украинские армии были расформированы и из них созданы на Правобережье — 12-я, на Левобережье — 14-я и ближе к Дону — 13-я армия. На Украину был командирован член Реввоенсовета республики

С. И. Аралов с поручением помочь формированию 12-й и 14-й армий.

Командующим 12-й армией со штабом в Киеве был назначен бывший царский генерал генерального штаба Н. Г. Семенов, лично известный В. И. Ленину. Но не так-то просто было подчинить украинских командиров, привыкших к «самостоятельности», единому командованию. Попытка переформировать бывшую 3-ю Украинскую армию в 45-ю дивизию кончилась тем, что в Киев пришла телеграмма: «Бывшим генералам не подчинялся и подчиняться не буду. Командарм 3 Худяков».

Для установления более тесной связи с украинским партийным руководством в Реввоенсовет 12-й армии ввели В. П. Затонского, а 14-й — А. С. Бубнова.

Я с момента мятежа Григорьева и до нашей эвакуации с Украины почти беспрерывно находился в разъездах.

Кажется, в конце июня я опять попал в Одессу. Город уже был не тот, что в первый мой приезд. «Бывшие» притаились и внешне приобрели вполне «советский» вид. Город, блокированный с моря и плохо снабжавшийся, находился в состоянии какого-то беспокойного ожидания. По улицам маршировали красноармейские отряды. Некоторые бойцы были в лаптях, другие в ботинках с обмотками и таком разнообразном обмундировании, как будто они шли на маскарад. Грабежи и налеты в Одессе прекратились. Федор Тимофеевич Фомин так прижал Мишку Япончика и его бандитов, что Япончик объявил ему о желании вместе со своими «соратниками» пойти добровольно на фронт для защиты советской власти. Он, мол, «грабил только богатых, его

люди сами пролетарии». Как ни странно, это предложение решили принять. Выгода как будто была двойная: и город очищали от бандитов, и фронт получал подкрепление — как-никак у Япончика числилось уже две тысячи человек, прекрасно вооруженных. Впоследствии «бойцы Мишки Япончика» разбежались при первом столкновении с петлюровцами, а его самого пришлось расстрелять за измену. Во всяком случае, в те дни бандитизм в Одессе ликвидировали.

На другой день после приезда я зашел к начальнику высшей военной инспекции В. Юдовскому, чтобы повидать С. А. Винокурова — члена Военной инспекции и уполномоченного Отдела особого осведомления.

Юдовский, худой, усатый, в синих очках, разговаривал с высоким, крупным человеком в военной форме. Голос у военного был такой, точно он командовал на параде. Все его повадки обличали строевого офицера, но не из тех щеголей, что привыкли сидеть в штабах, а фронтовика, жившего среди солдат. Рядом сидел громадного роста человек, косая сажень в плечах, с большим носом, подстриженными усами и необыкновенно добродушным выражением лица. Это был мой друг — Семен Андреевич Винокуров.

Я поздоровался с Юдовским, а Винокуров представил меня человеку во френче.

Тот протянул мне руку:

— Аралов.

Я и так знал, что это С. И. Аралов — член Реввоенсовета республики и 12-й армии, ибо ранее видел его в штабе армии в Киеве.

Аралов, не обращая на меня внимания, продолжал разговор с Юдовским.

— Я вам скажу: Якир — выдающийся человек. Подумайте сами. Студент, учился в Базеле, потом в технологическом институте в Харькове, воевал с румынами в Бессарабии во главе небольшого отряда. Потом был ранен под Екатеринославом. Выздоровел, послали в Воронеж. Был комиссаром и командиром Южной завесы. До этого избран в Воронежский губком.

Винокуров развел руками:

— Обычная судьба партийного работника в армии...

Аралов характерным движением наклонил набок голову и посмотрел на Винокурова:

— Верно, пока обычная судьба. Как видите, не было у него ни военного образования, ни опыта руководства крупными операциями. И вдруг его назначают членом Реввоенсовета Восьмой армии. А что это была за армия? В нее входил не подчинявшийся штабу армии крупный отряд под командованием Сахарова и двенадцатая стрелковая дивизия. Правда, в этой дивизии были замечательные полки — Богучарский, Бобровский и имени Карла Маркса. Но они измотались в боях и еще недавно являлись партизанскими отрядами, плохо усваивали воинскую дисциплину. Якир в короткий срок привел части в порядок, а Сахарова в повиновение. Он укрепил правый фланг двенадцатой дивизии и, заняв важный железнодорожный узел Лиски, соединил правый фланг дивизии с остальными частями. Однако закрепить эти успехи не удалось. Пехотные и конные полки Краснова, совершив глубокий обход, прорвались к Воронежу. Части Якира оказались отрезанными. Теперь белоказаки стремились во что бы то ни стало их ликвидировать как единственное препятствие для занятия Воронежа. Станцию Лиски пришлось оставить. Попытка прийти

на помощь Якиру с севера не удалась. В этой, казалось, совершенно безнадежной обстановке Якир сумел переформировать свои измученные части и без пополнения обмундированием, продовольствием и боеприпасами снова занять Лиски. Этим было выиграно время для переброски на Южный фронт новых воинских частей из Москвы и Петрограда. Вскоре наши Восьмая и Девятая армии перешли в наступление против Краснова. Якир был награжден орденом Красного Знамени номер два. Как известно, первым орденом Красного Знамени Советское правительство наградило В. К. Блюхера.

С. И. Аралов замолчал и задумался:

— И, по правде говоря, я не знаю, кто из них талантливее. Вот как наша партия умеет формировать полководцев. Блюхер, бывший рабочий Мытищинского вагоностроительного завода, в мировую войну был солдатом, потом унтер-офицером, Якир — студент политехникума. Конечно, полководцами не рождаются, но полководческими данными обладают редкие люди. Сколько я видел царских генералов! Всю сознательную жизнь служили в армии, помимо офицерского образования имели за плечами Академию генерального штаба, а в условиях гражданской войны не могли понять обстановку и вовремя принять правильного решения. Наши же учатся на практике гражданской войны и несут в себе тот дух героизма, который воспламеняет всех бойцов Красной Армии. Придет время — пойдут в школы и академии. А пока в соединении с честными военными специалистами в качестве начальников штабов они удачно решают самые сложные боевые задачи.

Юдовский поправил очки:

— Но пока что Якир вместе с работниками Южного фронта — бессарабцами — живет на Ланжероне. Все они намечены на разные должности в Бессарабском правительстве.

Аралов покраснел:

— Ну какое в нынешней обстановке, когда Бессарабия занята румынскими королевскими войсками, а мы едва держимся, может быть «Бессарабское правительство»! Я уже просил командующего Двенадцатой армией Николая Григорьевича Семенова назначить Якира начальником сорок пятой дивизии, а всех работников, приехавших с Южного фронта, передать в его распоряжение...

— Начальником сорок пятой назначен Савицкий,— сказал Винокуров.

— Савицкому дадим другую должность. Я считаю, что только Якир справится с задачей. Он воевал здесь в прошлом году — условия и местность знает. Бессарабские отряды нужно включить в сорок пятую дивизию.

Аралов встал:

— Ночью уезжаю в Киев, а дел еще куча...

Когда мы с Винокуровым вышли на улицу, направляясь к набережной, все небо было окрашено закатом. Красноватые лучи отражались в окнах, а вдали, там, где синее море сливалось с горизонтом, на воде горело яркое, огромное солнечное пятно. И по краю этого пятна дугой стояли корабли англо-французской эскадры, закрывая вход в порт.

Винокуров посмотрел на море, поправил портупею и вздохнул:

— Стоят. Иногда некоторые суда уходят в Новороссийск или в Константинополь, другие приходят на их

место. Часть вошла в Севастополь, занятый белыми. Того и гляди высадят десант.

— Так ведь есть береговые батареи.

— А что они сделают? Командный состав целиком офицерский. Кроме этого, у нас нет возможности укрепить все побережье. В городе остались отдельные отряды да рабочая охрана. Что можем, отправляем на фронт. И неразбериха порядочная. Нужен какой-то выдающийся военный руководитель, который объединил бы все силы, сумел собрать их в кулак, сделал части боеспособными и спас Киев и Одессу от окружения. Новые армии ведь только формируются...

Он махнул рукой, потом как будто спохватился:

— Ты обедал?

— Выпил утром чаю...

— Вот и я тоже, надо бы закусить...

— Пойдем в ресторан.

— Ничего ты там не достанешь. Тут за углом, недалеко от набережной, есть подвальчик, там пока еще частник держится. Не то грек, не то болгарин. Дерет три шкуры, но зато есть можно...

По стертым ступеням мы спустились в подвал. В полутемном зале стоял десяток столов, покрытых серыми потрескавшимися клеенками. В маленькие окна видны были ноги прохожих. Промаршировали чьи-то огромные нечищеные сапоги, вслед за ними засеменили старые лаковые туфли какого-то щеголя и рядом женские босоножки.

Мы выбрали столик в углу. Посетителей было мало. У стены сидела компания загорелых и веселых молодых людей в рубашках с открытым воротом, белых

штанах и сандалиях. Они имели вид курортников, пришедших с пляжа.

— Смотри,— сказал я,— видно, завтрашний день их не беспокоит.

— Наоборот, его-то они и дожидаются...

К столу подошла молодая девушка. Копна черных волос, глаза с поволокой, ослепительно белые зубы, сверкавшие, когда она улыбалась, и стройная фигура — она казалась каким-то ярким цветком в этом унылом сыром подвале.

— Что вы хотите? У нас есть...

Девушка не успела закончить фразы, как за спиной у нее появилась странная личность. Лысый, толстый человек с маленькими глазами и красным толстым носом, под которым торчала щеточка усов, молча отстранил ее рукой и оказался у стола.

— Что кушать будешь? Гювеч, кебапчета, таскебан?

Красный нос с фиолетовыми поджилками наклонился над самым столом:

— Ракию пить будешь? Дузико есть, хороший дузико, есть мастика, а?

Винокуров проглотил слюну:

— Давай, что готово, и побольше, и ракию давай... Попробуем...

Через несколько минут хозяин принес закрытую кастрюлю и поднял крышку. Оттуда повалил густой пар, и пряный аромат защекотал ноздри. В томатном соусе плавали куски мяса, красный перец и какие-то овощи. Хозяин поставил бутылку с прозрачной жидкостью, графин с водой и два стакана.

Винокуров выложил на тарелку еду и налил в ста-

каны немного прозрачной жидкости. Мы чокнулись, он сделал глоток и поперхнулся.

— Крепко — надо разбавить водой.

Мы добавили воды, и жидкость в стакане превратилась в молочно-белую.

Хозяин, издали наблюдавший за нами, подошел, покачал головой:

— Чего испугался? Всегда так бывает, вода прибавляешь — молоко получается!

Мы попробовали, но напиток нам не понравился. Кушанье было вкусное, но пряное, першило в горле. После кофе по-турецки, крепкого и ароматного, попросили счет. Хозяин назвал такую сумму, что Винокуров только крякнул. Когда мы вышли, было уже темно и уличные фонари, горевшие в полнакала, едва освещали пустынные улицы, листву деревьев, колебавшуюся от слабого ветра, и редких прохожих.

— Скажи, пожалуйста, Семен, ты видел Якира, о котором говорил Аралов у Юдовского?

— Видел и даже разговаривал с ним два или три раза. Пожалуй, самое главное в нем — это, помимо необыкновенной энергии, вера в успех, в победу. Все мы верим в нашу конечную победу. Но, если взять нынешнюю обстановку, трудно представить, что мы сможем удержаться на Украине. Харьков пал, не сегодня-завтра белые или петлюровцы займут Киев. Одессу защищать нечем. Он, мне кажется, не растеряется в этой обстановке. Да и командиры у Якира, я бы сказал, особого склада. Не заражены партизанщиной и верят в него... Ты когда уезжаешь в Киев?

— Завтра.

— И я завтра утром. Советую тебе поехать в нашем вагоне. Он прикреплен к бронепоезду. Вчерашний пассажирский состав обстреляли под Фастовом. И не разберут кто — не то петлюровские банды, не то махновцы.

Винокуров проводил меня до гостиницы, и мы условились вместе вернуться в Киев.

До Киева мы добрались сравнительно благополучно. Только ночью под Фастовом наш поезд где-то задержался, орудие на передней площадке раза два ухнуло, из леса, вплотную подступавшего к колее, застрекотал пулемет, потом все стихло, и поезд сначала медленно, а потом все быстрее двинулся дальше.

В Киеве подготовлялась эвакуация. На улицах, в особенности на окраинах, по вечерам слышалась частая стрельба. Бандиты из окрестных сел мелкими группами в крестьянской одежде проникали в город, иногда на возах с продуктами для продажи на базаре, и вечером в темноте стреляли в одиночных прохожих, особенно если те были в военном обмундировании. Деникинцы двигались к Киеву вдоль Днепра, петлюровцы нацеливались на Житомир и Новоград-Волынский. Петлюровцы, очень усилившиеся за счет вполне боеспособных галицийских частей, стремились, невзирая на потери, захватить Фастов и Белую Церковь, с тем чтобы кратчайшим путем повернуть на Киев и войти туда раньше деникинцев.

Вопрос об удержании Правобережной Украины обсуждался Политбюро ЦК РКП(б). 7 августа 1919 года главкомом С. С. Каменевым была в соответствии с этим дана директива командующим 12-й и 14-й армиями: «Оставление Одессы и всего Юга Украины не соответствует общей обстановке фронта, т. к. такой отход со-

вершенно развяжет руки противнику, оперирующему в районе южнее Кременчуга, и он не замедлит использовать освободившиеся части для противодействия нашему подготовляющемуся главному удару. Мысль о возможности сохранить части при большом отходе без давления противника и к тому же через районы восстаний следует вовсе откинуть... Южным дивизиям не грозит непосредственная опасность быть отрезанными, и они должны начать отход лишь тогда, когда эта опасность назреет в полной мере, и притом должны отходить лишь под натиском противника, оказывая сопротивление...»

9 августа 1919 года В. И. Ленин телеграфировал «Политбюро Цека просит сообщить всем ответственным работникам директиву Цека: обороняться до последней возможности, отстаивая Одессу и Киев, их связь и связь их с нами до последней капли крови. Это вопрос о судьбе всей революции. Помните, что наша помощь недалека» [1].

Однако выяснилось, что 13-я армия разбита, 14-я небоеспособна, части 58-й дивизии, вышедшие из Крыма под командованием Федько, сильно заражены махновщиной, 45-ю дивизию И. Якир только начал приводить в порядок.

Южную группу можно было создать только из этих армий и дивизий и 47-й дивизии, но следовало все эти части собрать, сделать боеспособными, снабдить боеприпасами и оружием — словом, на это требовалось время.

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, 5-е изд., т. 51, стр. 33.

Решено было одного из членов Реввоенсовета 12-й армии послать в Одессу, чтобы там организовать сопротивление и на месте назначить командующего группой.

С. И. Аралов вызвался поехать в Одессу, а командующим группой посоветовал назначить И. Э. Якира.

Член Реввоенсовета 12-й армии, первый после Октября председатель Киевского комитета РСДРП(б) В. П. Затонский настоял, чтобы послали не Аралова, а его. Дело в том, что в Киеве требовалась огромная работа по сколачиванию хоть каких-нибудь сил, и Аралов, как военный, имел гораздо больший опыт в этом отношении.

Экстренно снарядили «кустарный бронепоезд», сколоченный из угольных площадок. На бронепоезде установили два орудия, из которых действовало только переднее, так как в заднем не работал замок.

Экспедиция В. П. Затонского претерпела множество испытаний. До станции Помошной, вокруг которой бродили махновцы, поезд еле добрался, но дальше ехать нельзя было, так как мост оказался взорванным. Затонского спешно вызвали в Елизаветград, и он поехал туда. К вечеру деникинцы уже заняли Знаменку. Пока Затонский принимал доклад в вагоне начальника боевого участка Шамова, началась перестрелка. Затонский бросился к своему поезду и стал собирать команду. Ему удалось продвинуть бронепоезд, чтобы он мог действовать единственной пушкой, но кто-то перевел стрелку, и бронепоезд врезался в другой эшелон. Задняя площадка была повреждена. Отцепив ее, бронепоезд двинулся в сторону Знаменки, но в это время на него налетел шедший к станции со стороны Знаменки броневик. Теперь поезд застрял. Началась полная неразбери-

ха. Стреляли со всех сторон. Это были местные бандиты, поднявшие восстание в ожидании деникинцев.

Ф. Т. Фомин, сопровождавший вместе с отрядом чекистов Затонского, бросился разыскивать сбежавших машинистов паровоза и попал в руки бандитов. Они уже вели его на расстрел, предварительно разоружив и сняв кожаную куртку, но Фомину удалось броситься с насыпи под откос и в темноте пробраться к своему поезду.

Все-таки на рассвете В. П. Затонский, пользуясь тем, что перестрелка утихла, отправил из Елизаветграда эшелон с местными работниками и их семьями. Затонский, однако, не предвидел того, что часть его отряда, бросив оружие, уедет с этим эшелоном.

Утром, продолжая отстреливаться, Затонский и его группа подожгли вагоны с фуражом и продовольствием, стоявшие на товарной станции, и начали отходить. Теперь у Затонского насчитывалось не более сотни бойцов. Им удалось пешком добраться со многими приключениями до Бобринской и оттуда потребовать из Киева новый бронепоезд и подкрепление людьми, чтобы пробраться в Одессу.

На третий день пришло два бронепоезда — один тяжелый с дальнобойными орудиями, другой «соломенный» из угольных площадок, и с ним около ста курсантов и красноармейцев.

Затонский двинулся к Одессе. По дороге махновцы разбирали рельсы или пускали навстречу паровозы. Махно занял Помошную. На одном участке пути были загромождены разбитыми вагонами. Это оказался поезд Советского Бессарабского правительства, членов которого махновцы перестреляли. После боя Затонско-

му удалось очистить Помошную от махновцев и занять село Песчаные Броды — родину жены Махно. Там захватили документы местного махновского «ревкома». Среди бумаг Затонский обнаружил любопытный документ. Два села, захваченные махновцами, передрались между собой из-за дележа добычи. Махновцы из Песчаных Бродов организовали крушение советского эшелона, который вез обмундирование и оружие. Пока они грабили эшелон, на них напали крестьяне из другого села и отняли все. Песчанобродцы написали жалобу Махно, на которой он наложил резолюцию: «Нехорошо честным партизанам ссориться, а делать нужно по справедливости, в оружии нуждаются и те, и другие одинаково, поэтому нужно установить количество добычи и распределить пропорционально населению обоих сел».

С трудом продвигались бронепоезда Затонского к Одессе. В Вознесенске пришлось расстрелять одного из саботажников.

На станции Сербка Затонский получил телеграмму от Якира и Гамарника, чтобы дальше бронепоезда не шли, а он сам выезжал на паровозе. На Сортировочной Затонский наконец встретил Якира и Гамарника. На станции Одесса рвались снаряды. Английская эскадра высаживала белогвардейский десант. Береговые батареи вместо того, чтобы обстреливать неприятеля, повернули орудия и открыли огонь по городу. 25 августа белые захватили Одессу.

В Киеве для обеспечения безопасности и нормального хода эвакуации проводились широкие облавы. По вечерам перестрелка шла почти на всех улицах.

Как-то мне пришлось зайти в штаб армии к Н. Н. Пе-

тину по какому-то вопросу, связанному с эвакуацией. Потом я спросил его, что с Южной группой.

Маленький, седой, в гимнастерке, перетянутой широким ремнем, он встал из-за большого стола, заваленного бумагами.

— Штаб армии переходит в Новозыбков. Связь с Южной группой порвалась. Все единогласно высказались за то, чтобы командующим группой назначили Якира. Человек он талантливый и энергии необыкновенной. Но ведь задача перед ним почти невыполнимая.

Петин вышел из-за стола, прошелся по кабинету, потом остановился перед картой:

— С запада идут петлюровцы и белополяки, с Левобережья — деникинцы, а внутри этого мешка множество банд и Махно. К тому же из трех дивизий группы Якира — сорок пятой, сорок седьмой и пятьдесят восьмой — последняя, пятьдесят восьмая, сплошь махновская. Я не уверен, что она уже не рассыпалась. Правда, начальник штаба у Якира превосходный — бывший контр-адмирал Немитц, командиры дивизий и бригад — И. И. Гаркавый, Г. И. Котовский, И. Ф. Федько, в Реввоенсовете Я. Б. Гамарник, В. П. Затонский, Л. И. Картвелишвили — выдающиеся коммунисты...

Он еще раз прошелся по кабинету...

А для побед нужны предпосылки. Одессу мы оставили. Киев тоже оставляем... Вы представляете, как это скажется в моральном отношении на частях Якира. Ведь им предстоит совершить четырехсоткилометровый переход пешком с непрерывными боями. До сих пор мы воевали в основном вдоль железнодорожных магистралей. Теперь им придется от них оторваться.

Войска к этому не приучены... Да... Тяжелая обстановка... А сведений от Якира пока нет...

Последние дни в Киеве проходили в лихорадочной работе. Грузили последние эшелоны и пароходы, эвакуировали людей и имущество.

Киев был оставлен 30 августа. Его заняли петлюровцы, но на другой день их выбила из города Добровольческая армия Деникина. В день оставления советскими войсками Киева у села Белощицы был убит легендарный командир 44-й дивизии Н. А. Щорс, имя которого для каждого коммуниста на Украине являлось символом победы.

В командование дивизией, потерявшей значительную часть своего состава, вступил И. Н. Дубовой.

Теперь и Киев и Одесса были в руках белых. Итак, группа Якира оказалась в кольце. Ни в Новозыбкове, куда перебрался Реввоенсовет 12-й армии, ни в Гомеле, куда эвакуировалась часть правительственных учреждений и некоторые разрозненно отступавшие отряды, не было никаких сведений о том, что происходит с войсками Якира.

Только на двадцать первый день Якиру удалось связаться при помощи своей полевой радиостанции с 44-й дивизией, которой командовал Дубовой, и примерно через месяц выявились подробности одного из самых героических походов в истории Красной Армии.

Затонский, встретившись на станции Одесса-Сортировочная с Якиром и Гамарником, проскочил под артиллерийским обстрелом на паровозе вместе с ними в Бирзулу, где находился штаб 45-й дивизии. На совещании, в котором участвовали Я. Б. Гамарник, Л. И. Картвелишвили, начальник штаба группы бывший контр-

адмирал А. В. Немитц, И. И. Гаркавый и комиссар 45-й дивизии Николай Голубенко, картина выявилась самая мрачная. На севере — Петлюра и галичане, в тылу — бандитские шайки, разрушенные мосты и нападения на оставшиеся кое-где уездные и сельские Советы. В Одессе и Киеве — белые, из-за Днестра часто переправлялись румыны, под Сарнами шевелились белополяки и, наконец, Махно, захватив узловую станцию Помошную, перерезал всякую возможность связи с армией. Бандитская армия Махно росла не по дням, а по часам. От 58-й дивизии не было никаких сведений. Однако известно было, что она поддалась махновской агитации и от нее к Махно перешли кавалерийские части и броневики.

Ядром группы являлась наиболее боеспособная 45-я дивизия. В значительной степени она состояла из партизанских отрядов, сформированных в приднестровских районах Бессарабии. Поэтому в нее входили полки: Тилигуло-Березанский, Приднестровский, Плосковский, Балтский, и командовали ими уроженцы этих мест.

Никто не знал, согласятся ли эти отряды и их командиры двинуться на север, неизвестно куда, вместо того чтобы отстаивать свои родные места. Да и сам поход намечался в необычных для войск условиях. Красноармейцы этих отрядов, превратившихся в полки, привыкли партизанить в знакомой им местности или вести бои вдоль железнодорожной магистрали. Теперь по плану Якира части, собранные в кулак, должны были оторваться от железной дороги, сжечь подвижной состав, уничтожить большую часть дивизионного имущества и даже боеприпасов и идти на север между двумя железнодорожными линиями.

Но куда на север? Никто не представлял себе, где к северу от Киева проходил наш фронт. Полевая радиостанция не могла связаться ни с одной советской частью. Неизвестно было, где находится 58-я дивизия, входившая в группу Якира.

Когда Якир изложил свой план на совещании в Бирзуле, все молчали. Обстановка казалась настолько сложной, а план настолько необычным для практики гражданской войны, что из присутствующих никто не решался высказаться первым. Тогда Якир предложил А. В. Немитцу сообщить свое мнение.

История знакомства Ионы Якира с бывшим контр-адмиралом Александром Васильевичем Немитцем была необычной.

Еще в первую мировую войну, командуя дивизионом миноносцев, Немитц прославился своими налетами на танкеры, подвозившие румынскую нефть турецкому флоту. Вражеские корабли всячески избегали столкновений с его дивизионом, зная, что тот не выходил из боя до окончательной победы и не проиграл ни одного сражения. За беспримерную отвагу Немитц был награжден золотым оружием. В 1917 году, после ухода Колчака, его назначили командующим Черноморским флотом. Немитц немедленно начал готовить поход на Константинополь. Но идея «войны до победного конца» уже изжила себя. Значительная часть моряков шла за большевиками. Тогда Немитц сам сложил с себя звание командующего флотом. За это Керенский отдал под суд его вне закона. Но Октябрьская революция и последующая перемена властей в Одессе, куда он переехал, спасли адмирала от суда. Когда войска союзников и белые части заняли Одессу, Колчак звал его к себе. Но Немитц

отказался служить и Колчаку и Деникину. Он считал, что, пригласив иностранные войска на русскую землю, они предали родину. Будучи человеком умным и лишенным кастовых предрассудков, Немитц понимал, что только советская власть способна обеспечить независимость России.

После установления советской власти А. В. Немитц без колебаний пошел в Красную Армию, и его назначили военным руководителем штаба Одесского округа.

Однажды в штаб пришел Иона Якир и выразил желание поговорить с Немитцем. Бывший адмирал оказался широкоплечим человеком, среднего роста, с резкими чертами лица. Он внимательно посмотрел серыми холодными глазами на Якира. Перед адмиралом стоял высокий человек с открытым лицом, вьющимися густыми волосами и полными жизни глазами. От него веяло энергией, силой воли и в то же время какой-то удивительной для военного добротой. У Немитца, помимо блестящего военного образования и боевого опыта, уже давно выработалось умение распознавать людей. Он знал, что Якир назначен командующим группой войск, и теперь мысленно прикидывал, соответствует ли он этой должности. Будучи военным руководителем штаба округа, адмирал более, чем кто-либо другой, знал недостатки молодой украинской Красной Армии — отсутствие грамотных командиров, неизжитые партизанские настроения, влияние махновщины, слабость дисциплины, беспорядок в штабах, неустойчивость наскоро сколоченных новых формирований.

И все же, глядя на Якира, он испытывал какую-то необъяснимую для себя веру в него и все возраставшее чувство симпатии. Наконец Немитц сделал движе-

ние рукой по направлению к стоявшему перед письменным столом креслу:

— Прошу садиться. Я вас слушаю...

Якир сел и посмотрел своими блестящими карими глазами на бывшего адмирала.

— Я пришел, Александр Васильевич, просить вас возглавить штаб группы войск...

— Насколько мне известно, в наличии имеется пока одна сорок пятая дивизия, составленная преимущественно из партизанских отрядов, сформированных в Бессарабии.

— Да, но мы соберем все, что сможем, в кулак: пятьдесят восьмую дивизию, остатки сорок седьмой, отдельные мелкие отряды, все, что есть в Одессе...

— Отряды, сформированные в Одессе, пока не боеспособны, они не смогут опрокинуть десант, когда он высадится.

— А вы предполагаете, что англо-французская эскадра высадит десант и займет город?

— Несомненно. С потерей Одессы и Киева ваша группа окажется в двойном кольце. С каждым днем положение ухудшается. Мало этого, поскольку большинство красноармейцев — это крестьяне, привыкшие партизанить в своих районах, они не захотят уходить из них и массами будут переходить к Махно. И это естественно: у батьки «вольная жизнь», грабь кого хочешь, да и родные хаты близко. К тому же Махно тоже «воюет с белогвардейцами и помещиками» за «крестьянские вольные Советы». Таким образом, ваша группа будет иметь в тылу множество бандитских шаек. Могу я узнать, какую задачу вы ставите перед собой?

— В создавшейся обстановке единственной задачей

может быть прорыв на север для соединения с Красной Армией.

— У вас есть точное направление движения, установлена связь с другими частями, намечен район, где именно вы должны прорвать фронт противника, чтобы соединиться с армией?

— Ничего этого пока нет...

Немитц постучал пальцами по столу:

— Та-ак... Задача трудная, почти невыполнимая... А вы верите, что вам удастся прорваться на север?

Якир улыбнулся:

— Верю. Все дело в решительности, быстроте действий и, если хотите, именно в том, чтобы каждый красноармеец верил в победу. И конечно, в четкой работе штаба, в том, чтобы, приняв правильное решение, мы сумели заставить подчиненных выполнить его с абсолютной точностью...

Немитц с сомнением покачал головой:

— Мне нравится ваша уверенность. Однако смело, смело задумано...

Якир встал.

— Простите, если вам трудно в этих условиях взять на себя ответственность, я, конечно, не буду настаивать...

Немитц поднял мохнатые брови, в его серых глазах мелькнула усмешка:

— В «этих условиях» мне нравится смелость замысла. Именно поэтому я принимаю ваше предложение.

Теперь Немитц стоял с указкой у карты:

— Оторвавшись от железной дороги в районе Бирзула — Балта, дивизия будет двигаться между двумя железнодорожными линиями по маршруту, который ме-

нее всего может предполагать противник. Нам придется уничтожить все лишнее. За нами следует огромный обоз, множество беженцев, гурты скота, без которого войска не смогут прокормить себя. Справа от нас будет двигаться пятьдесят восьмая дивизия под командой Федько и остатки сорок седьмой дивизии под командой Логофета. Все наши колонны, а их будет не меньше десятка, займут фронт от ста до ста двадцати верст. Петлюра попытается отрезать нам путь на север на линии Рудица — Гайворы — Балта. Задача первой и второй бригад сдерживать их на участке Крыжополь — Вольфантовка... С нами следуют вывезенные из Одессы уполномоченным Наркомфина товарищем Вассинасом ценности. Несомненно, что у петлюровцев это вызовет особое желание отбить их и уничтожить нашу группу. Подробный боевой приказ будет разработан дополнительно...

Якир встал, прошелся по комнате, потом остановился и, как бы обращаясь к каждому из присутствующих, сказал:

— Положение наше тяжелое, почти безвыходное, я говорю почти, потому что безвыходных положений не бывает. Первое, что нужно сделать, это связаться с Федько. Разумеется, мы сделаем все возможное, чтобы связаться и со штабом армии. Сейчас самое важное — это быстрота и решительность действий. Необходимо, чтобы части, собранные в кулак, стремительно двигались вперед на север. Для этого надо довести задачу до сознания каждого бойца, передать ему нашу волю, убедить его, что только в этом — спасение. С трусами и колеблющимися расправляться беспощадно, проявляющих героизм награждать тут же. Увеличить жало-

ванье красноармейцам, улучшить довольствие. Переходы будут длинными — в тридцать — сорок верст, привалы и ночевки короткими. Нужно проявить неустанное внимание к каждому, на привалах всем политработникам и командирам находиться среди бойцов, беседовать с ними. Каждый член партии, без исключения, обязан вести неустанную агитацию, просто и ясно разъясняя задачу. Следует сейчас же составить и распространить «Памятку бойцам Южной группы». Она должна быть написана живо, образно, доходить до сердца каждого...

Он внезапно остановился, а потом, как будто про себя, сказал:

— Вот так... А теперь за работу!..

В течение трех дней Затонский пытался по земским проводам найти Федько. В зависимости от того, с кем он говорил, то по-русски, то по-украински, он старался объяснить собеседнику, насколько важно узнать, где находится 58-я дивизия. В большинстве случаев «нацепив три-четыре провода», Затонский в конечном итоге натыкался на петлюровца, махновца или белогвардейца, который, выяснив, в чем дело, отвечал отборной руганью. И вдруг однажды Затонскому удалось найти телеграфиста, который не только сообщил ему, что части 58-й дивизии недавно покинули станцию, но и обещал послать человека вдогонку и разыскать Федько. Через два часа Федько связался с Бирзулой и приехал туда на третий день. 58-я дивизия была на грани развала. Еще в Николаеве ее броневики перешли к Махно, а в Помошной к нему же ушла и кавалерия. Во всей дивизии оставались только поредевшие пехотные полки.

Ночью Затонский вместе с Федько выехал в Голту, куда были вызваны командиры полков и комбриги. На вопрос, боеспособны ли полки, каждый из командиров заявлял, что его «братишки» готовы драться с кем угодно. На вопрос Затонского, готовы ли они сражаться с Махно, они отвечали: «Ни, с Махно не будут, бо хлопцы сами думают, як бы к Махно уйти». Однако один из командиров заявил, что его полк «буде битися з Махном». Удивленный Затонский спросил: «Неужели это такой сознательный полк?» На это командир полка, улыбнувшись, сказал: «Ни, они григорьевцы с Верблюжки, так что злостятся на Махно за то, что тот убив Григорьева».

Как бы то ни было, дивизия двинулась вместе с остатками 47-й дивизии на север, согласно приказу Якира справа от 45-й дивизии.

Махно был уверен, что ему удастся всех бойцов 58-й дивизии переманить к себе, забрать ее артиллерию и вооружение. Для этого он подсылал кавалерию, уже ранее ушедшую к нему, агитировать за переход к «батьке», где «вольная жизнь и добра скилько хочешь». Красноармейцы в одиночку и группами в первые дни переходили к нему. Но когда части присоединились к Якиру и втянулись в поход, всех как будто спаяла единая воля командующего.

Из Бирзулы штаб группы и главные силы передвинулись в Балту. Здесь взорвали эшелоны, и начался великий поход на север. Но для этого нужно было прикрыться от удара слева, со стороны петлюровцев. Задача сдерживать противника в районе Крыжополя и Вольфантовки была возложена на две бригады левой колонны Котовского и Грицова. Разговаривая с военкомом

первой бригады Левензоном и Григорием Котовским, Якир сказал:

— Сейчас от вас зависит судьба всей группы. Надо сдержать противника во что бы то ни стало, дать возможность оторваться основным силам... Знаю, что будет тяжело, но надеюсь на вас...

Утром бригады начали наступать на петлюровцев. Это были лучшие галицийские полки противника. Весь день шел бой. Наступила ночь, а артиллерийский и пулеметный огонь не прекращался. Утром Котовский сообщил Левензону, что надо отходить. Но Левензон не знал, сумели ли части группы Якира уйти достаточно далеко. Левензону удалось убедить Котовского продержаться еще день. Но галичане подбросили силы и перешли в контрнаступление. Весь день шел рукопашный бой. Впоследствии Якир писал: «Два полка первой бригады погибли смертью храбрых, сдерживая натиск превосходящего противника и дав этим возможность вывести всю группу...»

Только ночью Котовский, собрав остатки частей и посадив их на заготовленные подводы, с трудом сделал бросок на юг к Рыбнице, оттуда к станции Рудница и далее к станции Пепелюха, где были взорваны бронепоезда и составы. После этого первая и вторая бригады присоединились к главным силам группы Якира.

Теперь собрались все части. На привалах коммунисты находились среди бойцов. Они находили с каждым из них общий язык, вселяя в них уверенность в победе, бодрость. В нескольких боях заслоны петлюровцев и галичан легко были опрокинуты, и наши части, делая переходы по 30—40 верст в день, стремительно двигались на север.

На каждой остановке полевая радиостанция развертывалась, и начинались попытки связаться со штабом армии или 44-й дивизией. По ночам около станции собирались Якир, Затонский, Гамарник в слабой надежде, что наконец-то удастся перехватить какое-нибудь указание штаба армии. Измученные радисты ловили множество сообщений. Эфир был заполнен звуками. Работали полевые станции белых, петлюровцев, белополяков, галичан и более мощные — румын и венгров. Казалось, что неприятель захватил не только всю Украину, но и небо над ней.

Тогда Якир передавал по радио десятки приказов с благодарностями несуществующим бригадам и полкам, перечислял трофеи, награждал командиров. Белые и петлюровцы, составляя сводки по перехватам, приходили к заключению, что на них двигается огромная армия.

На двадцатый день в разноязычном хаосе звуков потерявшие надежду на успех радисты начали улавливать какую-то советскую полевую радиостанцию. Еще через один переход 11 сентября едва слышные призывы той же полевой радиостанции стали совершенно отчетливыми. Это оказалась радиостанция 44-й дивизии. Через несколько минут Якир уже разговаривал с начальником дивизии И. Н. Дубовым. Чтобы убедиться в том, что это действительно говорит Якир, Дубовой спросил:

— Как имя жены деда? — «Дедом» в свое время на Южном фронте звали командующего 10-й армией К. Е. Ворошилова.

— Екатерина Давыдовна,— ответил Якир.

Он сообщил Дубовому, что по пути следования

группы разбиты три петлюровских дивизии — 5, 7, 12-я. Они условились, что Дубовой перейдет в наступление навстречу группе и они соединятся в Житомире, очистив его от петлюровцев.

Южная группа продолжала свое движение на север, стремясь пересечь железную дорогу между Фастовом и Казатином.

Полгода спустя как-то в разговоре со мной В. П. Затонский вспоминал этот поход...

«Никогда в жизни этого не забуду. Огромная многотысячная спаянная масса людей двигалась по дорогам, а за ней тянулся обоз на 20—25 верст. Громадные волы, английские мулы тянули повозки с грузами. На волах тащили даже бронемашины, чтобы не расходовать бензин и не портить моторы.

Огромное количество беженцев, женщин и детей тянулись на повозках вслед за армией. За ними гнали бесконечные гурты скота. В воздухе стоял унылый скрип несмазанных осей. Огромные возы, тачанки, орудия, крытые фургоны издавали тягучий звук, прекращавшийся только ночью. На привалах распрягали повозки, ставили их полукругом, выставляли посты, выдвигали сторожевое охранение, разводили костры, варили пищу...»

В Южной группе находилось около тысячи коммунистов. Они присаживались к кострам, разъясняли приказы, отданные штабом. Весть о том, что установлена связь с 44-й дивизией и группа идет на соединение с советскими частями, вызвала всеобщее ликование.

Но, разумеется, об этом узнал и противник. Деникинцы и петлюровцы прекрасно понимали, что соеди-

нение крупных частей 12-й армии может резко изменить всю обстановку на Украине.

Между петлюровцами и деникинцами, которые до сих пор враждовали, установилось как бы негласное соглашение — опрокинуть и разбить части Якира. Для этого был намечен район станций Попельня — Бровка. Сюда противник стянул бронепоезда, артиллерию, лучшие части с пулеметными командами. Эта местность казалась им наиболее удобной для разгрома красных. Перед Бровками был лес. Петлюровцы на верхушках деревьев укрепили пулеметы, за каждым деревом поставили лучших стрелков. В районе Попельни — равнина и дальше насыпь железнодорожного полотна. Равнина хорошо обстреливалась бронепоездами, за рельсами залегла пехота с пулеметами. Если даже отдельным бойцам Якира удалось бы перебежками проскочить ровную степь, то ружейный и пулеметный огонь с насыпи не дал бы им прорваться через железнодорожную линию.

Начался бой, и степь и лес заволок огненный шквал. Много раз красноармейцы бросались в атаку, и каждый раз лавина огня прижимала их к земле. Якир, Гаркавый, Гамарник, не обращая никакого внимания на огонь противника, переходили от одной группы бойцов к другой. Наконец они оказались в расположении Котовского. К этому времени Якир побывал на всех участках передовой. Глядя на залегших в открытой степи красноармейцев, Якир сказал:

— Так вести дальше наступление нельзя, погубим тысячи бойцов и не прорвемся. Кавалерии Котовского надо обойти фланг неприятеля и ударить ему в тыл. Железнодорожное полотно взорвать в нескольких ме-

стах. Артиллерии бить по верхушкам леса. Сейчас наступление прекратить. Ночью, когда Котовский выполнит задачу, рывком броситься на насыпь и пересечь железную дорогу...

Когда стемнело, вся степь осветилась пожаром, горели хаты, скирды сена, снопы хлеба, снаряды рвались, вздымая комьями землю.

Части пошли в атаку. Неприятельские бронепоезда не прекращали огня. Теперь весь успех зависел от стремительности наступления.

К утру враг был разбит. Особенно отличилась 3-я бригада 45-й дивизии. В районе станции Бровка она захватила в плен два полка противника, семь орудий, много пулеметов. У станции Попельня 58-я дивизия под командованием Федько, разбив врага, захватила огромные трофеи.

Вся группа пересекла железную дорогу. Штаб расположился в деревне Крапивна. Якир, вместе с Немитцем, самым тщательным образом разработал план взятия Житомира, учитывая, что с севера на него будут наступать части 44-й дивизии Дубового. Основная задача заключалась не только во взятии самого Житомира, но и в том, чтобы петлюровские части попали в мешок. Это была большая неприятельская группировка, и ее ликвидация открывала широкие возможности для дальнейших действий по освобождению Украины.

Нужно было перерезать железнодорожную ветку на Бердичев у станции Кодня, взорвать переправу через реку Гуйва, взорвать железнодорожный мост у Бородянки, перекрыть шоссе на Новоград-Волынский. Все было предусмотрено до мелочей. Но тщательно разработанный план можно было осуществить только при

условии точного выполнения приказов каждой частью, входившей в состав группы.

Подписывая приказ, Якир спросил Немитца:

— А как вы думаете, смогут ли наши части выполнить такую сложную задачу? Ведь клещи раздвинулись на десятки верст, достаточно на одном участке не выполнить оперативное задание в срок, и неприятель прорвется «сквозь дыру в мешке». Ваше мнение, Александр Васильевич!

Немитц поднял густые брови, посмотрел своими серыми глазами на командующего:

— Я думаю, Иона Эммануилович, что все будет в порядке. Теперь это уже не те растрепанные, зараженные махновским духом «братишки», с которыми мы начинали поход. Сейчас это закаленная в боях армия, уверенная в себе, привыкшая побеждать. И командиры тоже не те. Командиры теперь понимают, что боевой приказ следует выполнять не «вообще», а точно по часам и минутам...

17 сентября Житомир был взят. На мосту через реку Гуйва начальник 45-й дивизии Гаркавый встретился с начальником 44-й дивизии Дубовым.

В. И. Ленин оценил поход Южной группы под командованием Якира на соединение с частями 12-й армии как проявление величайшего героизма со стороны красноармейцев и командиров.

Орденом Красного Знамени были награждены А. В. Немитц и И. Ф. Федько. Вторым орденом Красного Знамени награжден И. Э. Якир. 45-я и 58-я дивизии получили Почетные Знамена Революции. Особенно заинтересовался В. И. Ленин двадцатитрехлетним коман-

дующим Южной группой И. Э. Якиром и расспрашивал о нем С. И. Аралова.

Теперь, когда Южная группа фактически превратилась в целую армию, прекрасно вооруженную и снабженную за счет трофеев, Якир стал думать об изгнании белых с Украины. Он настаивал на этом потому, что Деникин в это время подходил к Орлу и рвался к Москве.

Якир считал, что, заняв Киев, перейдя Днепр и двинувшись в направлении Пирятин — Полтава, его части или разобьют Деникина с тыла, или ослабят его удар на Москву. Просачивались сведения, что Полтаву заняли повстанцы, что Елизаветград отрезан и весь тыл Деникина находится в состоянии брожения.

По просьбе Якира 58-й и 44-й дивизиям, коннице Котовского и части 45-й дивизии разрешили сделать налет на Киев, занятый белыми. Этот налет подтвердил правильность расчетов Якира. Тыл у Деникина был неустойчив, и занятие советскими войсками Киева, даже на несколько дней, деморализовало белые части и воодушевило крестьян и рабочих на борьбу с деникинщиной.

В 1920 году, работая в штабе Юго-Западного фронта, я как-то у кабинета А. И. Егорова встретил В. П. Затонского и условился зайти к нему вечером.

Владимир Петрович Затонский был любопытнейший человек. По образованию физик, он заведовал химической лабораторией в политехническом институте. Старый революционер, но еще молодой человек (ему тогда было тридцать два года), широкоплечий, с густой шевелюрой и очками, которые не совсем прямо сидели на толстом носу, остроумный, смелый, точный в любом

деле, он заметно выделялся в среде руководящих украинских работников. Агитатором Затонский был первоклассным, украинский язык знал превосходно и умел подойти к любой аудитории, даже в случаях, когда, как говорится, было не до шуток. Однажды он выступал в Фастове перед каким-то взбунтовавшимся отрядом. Ему с трудом удалось протиснуться через возбужденную толпу и взобраться на какое-то возвышение. Вдруг он увидел прямо перед собой «бойца» в черном котелке, перепоясанного пулеметными лентами поверх пиджака, одетого на голое тело, босого и с обрезом в руке. Владимир Петрович соскочил с возвышения, подошел к нему и спросил по-украински:

— Где это я вас видел?

Черный котелок, почесав за ухом, смущенно сказал:

— Ни видаю... Мабуть, в Глухове...

— Вот именно, в Глухове.— И обратился к командиру отряда уже совсем другим тоном: —Что же вы, для него пару сапог не могли найти? Выдать ему сейчас же сапоги...

Лед был сломан, и, вернувшись на свою импровизированную трибуну, Затонский начал доказывать этим полумахновцам-полугригорьевцам, только что разгромившим местную Чека, почему они должны строго соблюдать приказы советской власти.

Затонский занимал самые ответственные посты в правительстве, а также был членом Реввоенсовета 12, 13 и 14-й армий Южного фронта.

Сейчас он сидел за столом, с удовольствием пил чай:

— Ведь вот в наших штабных столовых толком чай не умеют заваривать!

Зашел разговор об Якире.

— Это не так просто — сразу ответить на вопрос, каков Якир? Тут, если можно так выразиться, сложный сплав разных элементов. Во-первых, культура, учился за границей, знает языки, много читал. Во-вторых, военный талант, о котором он, может быть, и не подозревал, и потом этот талант проявился уже в боевой обстановке. В-третьих, и, может быть, это самое важное, он настоящий ленинец, то есть того типа большевик, в котором соединяется железная решительность и твердость с человечностью, с умением позаботиться о человеке, с любовью к людям...

Он поправил очки:

— И потом ведь вот какая штука! В старое время отдавали мальчика в кадетский корпус, потом он поступал в юнкерское училище, получив офицерский чин, шел в полк, оттуда в Академию генерального штаба. А тут все наоборот — технолог, большевик, воевать начал с маленьким отрядом на одном грузовике, а потом блестяще командовал целой группой войск в сложнейшей обстановке. Академию прошел в боях и походах. Учился военному делу на практике. И уж поверьте, когда партия направит его учиться в военную академию, а такое время настанет, он будет одним из лучших наших полководцев...

И это не единичное явление. Сумела же партия из профессиональных революционеров создать выдающихся военачальников, таких, как М. В. Фрунзе. К. Е. Ворошилов, В. А. Антонов-Овсеенко, Н. В. Крыленко, Н. И. Подвойский.

Кажется, в 1930 году (а может быть, годом позже) осенью я был командирован в Харьков по служебным делам. Уже не помню, по случаю какой даты в город-

ском театре (по-моему, это была годовщина Октября) состоялось торжественное заседание. Я тоже получил приглашение и вместе со своим другом по гражданской войне и подполью Виктором Алексеевичем Ордынским отправился в театр. На сцене, в президиуме, сидели члены Политбюро ЦК КПУ и Украинского правительства. Некоторых я знал лично, но много уже было и новых. Среди них я обратил внимание на высокого человека с блестящими живыми глазами в военной форме с четырьмя ромбами.

В перерыве я увидел его в фойе. Он беседовал с несколькими товарищами. Многие подходили к нему, здоровались и, обменявшись несколькими фразами, шли дальше. Меня удивила его манера обращения с людьми — скромная, простая и в то же время ласковая.

Я спросил у Виктора Алексеевича:

— Кто этот военный?

Он удивился:

— Как кто? Это же Якир...



ВСЕГДА В БОЮ

Когда в феврале 1919 года советские войска заняли Киев, одной из важнейших задач была организация советской печати и информационного аппарата.

В течение суток вместо петлюровского «Украинского телеграфного агентства» было организовано «Бюро печати рабоче-крестьянского правительства Украины», в котором мне довелось работать.

В этом городе, наполненном агентами немцев, «союзников», поляков, деникинцев и петлюровцев, нужно было организовать мощный советский информационный и пропагандистский аппарат. В тех условиях многие считали это задачей невыполнимой.

Среди первых людей, взявшихся за это дело, и был Михаил Ефимович Кольцов.

Однажды, часов в одиннадцать вечера, Лев Никулин привел ко мне в кабинет молодого невысокого человека в очках, очень скромного, работавшего в редакционно-издательском отделе Политуправления

Киевского военного округа. Зашел разговор о том, какие формы агитации и пропаганды являются наиболее действенными. БУП выпускал тогда плакаты с иллюстрированными стихами. Огромный успех имел, например, плакат «О гетмане, Петлюре и прочих, до власти охочих» со стихами Льва Никулина. Плакат этот забрасывали в тыл к петлюровцам и наклеивали на станционные здания, где стояли эшелоны Директории. Многие перебежчики приносили обрывки от плаката в качестве доказательства своих добрых намерений. Помимо плакатов выпускались стенные печатные газеты, где очень кратко крупным шрифтом излагались события за день. По всему городу были развешаны фотовитрины, снабженные краткими выразительными текстами. Например, была фотография: бандиты атамана Зеленого загнали изнасилованных девушек в пруд. Под ней надпись: «Идите в Красную Армию защищать ваших дочерей и жен!» Еще одна: петлюровцы перед уходом из Киева грабят ювелирные магазины. Надпись: «Вот как Петлюра «защищает» частную собственность»...

Об этом в поздний вечер и шел с Кольцовым разговор, прерываемый бесконечными телефонными звонками и людьми, приносившими пачки телеграмм с самыми неожиданными сообщениями.

Михаил Ефимович выслушал все, что ему говорилось, посмотрел на нас своими карими глазами и сказал:

— Пока что отсутствует самый сильный жанр с точки зрения воздействия на массы — фельетон. Вспомните дореволюционную печать. Фельетоны Власа Дорошевича, знаменитый фельетон Александра Амфи-

театрова «Семья Обмановых» — о царской семье, фельетоны Леонида Андреева. В сущности, каждый крупный писатель умел писать фельетоны. Да что там говорить — сам Горький, прежде чем стать Горьким, которого мы знаем, прошел школу фельетониста. Не нужно делать фельетон собственностью одной газеты — надо передавать фельетоны по телеграфу во все газеты Украины, наряду с информацией.

С того вечера Кольцов стал частенько заходить по вечерам ко мне в гостиницу «Континенталь», куда я перебрался на жительство. У него была своя манера разговаривать — очень ровным, спокойным голосом и медленно. Я вообще ни тогда, ни впоследствии никогда не видел его возбужденным или громко разговаривающим. Он любил шутки и очень метко, точно определял характер человека. Работал Кольцов много, а по вечерам с удовольствием гулял по аллеям Купеческого сада, откуда открывался прекрасный вид на Днепр. В этом тихом, внешне спокойном человеке была скрыта огромная энергия блестящего организатора. Впоследствии организаторский талант Кольцова проявился во всем блеске.

Осенью, после отступления с Украины, в Гомеле, забитом воинскими частями и эвакуировавшимися учреждениями, я случайно увидел Кольцова на улице. Мы зашли в какое-то кафе, где подавали какао на воде с сахарином. На душе было тоскливо. Кольцов посмотрел на меня каким-то отсутствующим взглядом:

— Неужели все, что было сделано на Украине, не оставило следов в сознании народа?

— Оставило, конечно... И ни Деникин, ни Петлюра долго не удержатся...

— Все-таки мало мы успели там сделать... Я теперь еду в Москву, а вы?

Я не мог ответить ему, потому что через несколько дней должен был уехать в подполье — в Белоруссию и Польшу. Потом, видя, что мое молчание его удивляет, я сказал:

— Еще не знаю...

В это время в кафе вошел довольно плотный, аккуратный старичок и спросил вегетарианское блюдо. Небрежно одетая злая официантка передернула плечами:

— Ничего вегетарианского нет. Ничего нет, кроме какао на воде с сахарином.

Старичок довольно усмехнулся:

— Ничего, говорите, нет?.. Ну что ж, дожили!..— И вышел.

Кольцов посмотрел ему вслед и неожиданно сказал:

— А вы знаете, что среди вегетарианцев попадаются довольно пакостные люди?

— Знаю.

Кольцов задумался:

— А представьте себе в плане историческом подлеца-вегетарианца. Это должно быть что-то из ряда вон выходящее...

Кольцов оказался прав: такой подлец-вегетарианец впоследствии нашелся. Это был Гитлер, не евший мясного и уничтоживший в специальных печах миллионы людей.

Минуло около года. Шла война с панской Польшей.

За это время я прошел и подполье и капиталистическую тюрьму и после обмена служил в штабе Юго-Западного фронта в Харькове. Как-то, закончив работу,

я на Сумской отпустил машину и решил немного пройтись по улице. В плохо освещенном сквере было почти пусто, изредка попадались влюбленные парочки. На одной скамейке я увидел одинокого человека, пристально смотревшего на фонарь. Что-то знакомое было в его фигуре. Я замедлил шаги и узнал Михаила Кольцова. Мы очень обрадовались друг другу. Оказалось, что он на несколько дней приехал в Харьков и перед сном решил немного посидеть на воздухе.

Мы завели разговор о войне и о том, что будет после нее.

— Вот увидите,— говорил Кольцов,— это последние большие сражения. Гражданская война идет к концу. Покончим с Врангелем и белополяками, и начнется новая жизнь. Ах, какое же мы построим государство!

Мы пошли к нему в гостиницу и просидели почти до утра. В том, что он говорил,— а речь шла о нашей будущей литературе и о том, как пойдет жизнь в Советской республике,— не было ничего фантастического. Кольцов привык мыслить реальными категориями — это был большевик-организатор. Говорил он и о своей работе в «Правде», и о Марии Ильиничне Ульяновой, и о многом другом.

В 1924 году мне довелось месяц пробыть в Берлине. Как-то я решил показаться начальнику лечебного отдела нашего полпредства, доктору Иосилевскому.

В большом кабинете доктора стояло довольно много физиотерапевтических аппаратов, в том числе какой-то большой ящик, где была скрыта голова человека, сидевшего в кресле. Раздался звонок контрольных часов, доктор открыл ящик, и я увидел Михаила Кольцова. Оказывается, попав в Берлин и страдая

резкими головными болями, он проводил курс лечения в тепловой камере.

Мы решили пройтись по улицам и посидеть в каком-нибудь кафе. Был чудесный летний день. Огромный город жил странной лихорадочной жизнью. Только что прошла девальвация. Доллар теперь стоил четыре марки двадцать пфеннигов. Старые бумажные деньги, наводнявшие страну, были аннулированы, новых ни у кого из немцев не было. Американские и английские дельцы, пользуясь этим, рыскали по Германии, скупая за бесценок дома, заводы, картины, фарфор, золотые вещи. На Курфюрстендамм, на Фридрихштрассе, на Унтер-ден-Линден витрины магазинов были завалены роскошными вещами — их почти никто не покупал. Безработные и калеки, часами простаивая перед окнами продовольственных магазинов, рассматривали розовые окорока, зажаренных гусей, индюшек и заливных поросят. «Вот что ты можешь иметь!» — кричали витрины. Но большинство немцев не имели даже картофеля.

С утра открывались двери кафе, различных кабаре и варьете. Бешеная музыка оглушала прохожих, представления давались пять-шесть раз в день до часа ночи. Что это были за представления! Порнография преподносилась под видом «живых картин» и «акробатических танцев». Проституция приняла ужасающие размеры. Даже днем Фридрихштрассе и прилегающие к ней переулки были заполнены женщинами, останавливающими прохожих. В большинстве это были не профессиональные проститутки, а отчаявшиеся, лишившиеся отцов или мужей женщины, доведенные до крайности нищетой и голодом.

Тяжело было смотреть на рядовых немцев — рабочих, служащих, врачей, литераторов, на их голодные, осунувшиеся лица, заношенные, аккуратно заштопанные костюмы, заплатанные ботинки. И на этом огромном человеческом несчастье, как на дрожжах, росли капиталистические спруты — концерны Стиннесов, Тиссенов, Гугенбергов и Круппов.

Мы с трудом нашли приличное, тихое кафе и сели за столик у окна. Глядя на бесконечный поток людей, бежавших куда-то в несбыточной надежде любым способом заработать на жизнь, Кольцов сказал:

— После Москвы это вроде сумасшедшего дома. Мы ведь еще отсталая страна в сравнении с Германией. Мы пережили империалистическую войну, страшную гражданскую войну и вот уже полностью перестроили свое государство. А у нас не только каждый сыт, но мы строим новые заводы, дома, электростанции. И с каждым днем будем строить все больше и больше... Вот что сумел сделать Ленин, что сделала наша партия за каких-нибудь три года... И все-таки до чего же отсталую страну мы получили в наследство от царизма. Посмотрите на раздавленную Версальским договором, голодную Германию. Какое у нее количество автомашин, самолетов гражданской и транспортной авиации, электрических дорог. Один «блицпуг» Берлин — Гамбург чего стоит! В Германии нет деревень без электричества. А их шоссейные дороги, заводы, фабрики...

Кельнер подал две чашки «мокко». Кольцов попробовал и поморщился:

— Помесь желудей с цикорием.

Он снова заговорил о нашей стране, о том, что может сделать общественная, народная инициатива в социа-

листическом строительстве. Надо создать общество содействия авиации, побудить десятки тысяч молодых людей помогать строить самолеты, учиться летать на них. Не менее важно в такой стране, как наша, где сотни тысяч населенных пунктов далеко отстоят от железных дорог, построить великолепные автострады и посадить наш народ на автомобиль. Надо организовать автодорожное общество, научить каждого школьника разбираться в моторе. Да, да, в будущем каждый выпускник школы должен уметь управлять автомобилем! И, разумеется, нужно создать мощную автомобильную промышленность. Наконец, в плане социалистического строительства надо думать о «зеленых городах». Новые города (а ведь их возникает множество по мере создания индустриальных центров) должны быть городами-садами. Это глупое разделение на «город» и «дачу» должно отойти в прошлое... Конечно, все это удастся осуществить не через год или два. Потребуются годы, даже десятилетия напряженной работы. Но ведь социалистическое строительство идет от идеи к плану, а потом к его реализации. Поэтому поднимать все эти вопросы в печати следовало бы теперь.

Я слушал и изумлялся: каким неуемным мечтателем-революционером нужно быть, чтобы мечтать так смело и в то же время так деловито!..

Наконец я его прервал:

— Ну хорошо. Это в плане общих задач. А какие у вас личные литературные планы?

Михаил Ефимович глянул на меня поверх больших очков:

— Как «какие»? Вот это есть мои планы — пропагандировать эти задачи, писать статьи на эти темы,

создавать добровольные общества, выпускать для них журналы и другие издания... Ну и, разумеется, остается моя деятельность фельетониста. Чего-чего, а во врагах, и внешних и внутренних, у нас недостатка нет. Бить их по башке — вот моя литературная задача. Есть еще и другая категория — это не прямые враги, но они болтаются под ногами, мешают идти вперед: бездельники, болтуны, чиновники-бюрократы, равнодушные ко всему люди.

Кольцов заговорил тогда о том, каким должен стать «Крокодил», как нужно издавать «Огонек». «Огонек», доказывал он, должен стать массовым иллюстрированным журналом, который популярно знакомил бы читателя с жизнью и трудовыми достижениями всех наших республик. Нужен, кроме того, журнал под названием, скажем, «Солнце России». Он должен печатать репродукции с картин наших художников, знакомить советских людей с богатством Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея. Конечно, у нас еще полиграфическая база плоха да и бумага дрянная... Но все это будет: и прекрасные типографии, и великолепная бумага. Надо только взяться за дело...

Теперь, когда я вспоминаю этот разговор, мне становится немного стыдно. Слушая тогда Кольцова, я думал: «Не берется ли он за множество неосуществимых задач вместо того, чтобы заниматься своим основным делом, то есть писать?» Я не знал тогда, какими безграничными запасами энергии располагал этот человек.

Мы вышли из кафе. Улица, залитая солнцем, сверкающая зеркальными витринами и уже зажженными разноцветными огнями рекламных надписей, была за-

пружена народом. Шли сияющие, довольные собой победители — французы, англичане, американцы. Шли голодные побежденные — немцы. Не спеша двигались сытые, выхоленные шведы, голландцы и датчане, разбогатевшие на войне и приехавшие покупать по дешевке все, что возможно.

— Итак, вы послезавтра в Москву? — спросил я Кольцова.

— Да, а вы дальше?

— Дальше,— ответил я.

В последующие два года, находясь за границей, я мог только по страницам «Правды» следить за деятельностью Кольцова.

О чем только не писал он: о советском энциклопедическом словаре и о производстве бумаги, о чайных, об озеленении городов и о кирпиче. И обо всем он писал с великой страстью и убежденностью, упорно доводя начатое дело до конца.

Радость и гордость звучат в его словах, когда он пишет о жилищной рабочей кооперации. Вот отрывок из его фельетона «Здоровая горячка».

«Жилищная рабочая кооперация растет как в сказке. В январе 1924 года в Москве было десять жилищно-строительных кооперативов, через год — двести пятьдесят, еще через год — около тысячи. Этот рост — не случайный. Жилище при нашем диком жилищном кризисе — и жилище благоустроенное, культурное, чистое, гигиеническое — составляет главную основу для созидания социалистического быта на ближайшие и последующие периоды».

Как жаль, что Кольцов не дожил до наших дней. Как порадовался бы он, узнав, что каждый год в Моск-

ве строится более двух с половиной миллионов квадратных метров жилой площади.

Борясь за новое, Кольцов никогда не забывал о пережитках прошлого, о жуликах, бюрократах, карьеристах и просто людях, еще не перевоспитанных революцией. Он получал со всех концов нашей необъятной страны тысячи писем. Иногда эти письма содержали разоблачения, иногда просьбу о помощи.

Этот занятой по горло человек, получив письмо, нередко бросал все, ехал в какой-нибудь далекий городок и копался там в местных делах до тех пор, пока не добивался наказания виновных и восстановления справедливости.

В поездках он был неутомим. До самого конца своей литературной и общественной деятельности он всегда был «на линии огня». Обсуждается в Лиге Наций в Женеве вопрос о нападении Японии на Китай — и Кольцов в Женеве. Приходит к власти Гитлер, и фашизм волной насилия и кровавых злодеяний пытается удушить рабочий класс в Германии — Кольцов в Берлине. Весь мир с затаенным дыханием следит за войной в Испании — и Кольцов уже там, в окопах, вместе с республиканскими бойцами.

Он умел, как никто другой, бить по врагам, которые затаились или ушли в эмиграцию. Его знаменитый фельетон «Николай» — о последнем царе — привел в бешенство всю эмигрантскую печать. Ведь это Кольцов вытащил на свет божий одно из самых характерных «литературных произведений» равнодушного ко всему идиота — последнего царя. Оно состояло из двух строк и являлось резолюцией на верноподданническом адресе от извозопромышленников: «Передайте

извозчикам мою благодарность, объединяйтесь и старайтесь».

Он проник под видом французского журналиста в «святая святых» русской белой эмиграции — к руководителю «Российского общевоинского союза» генералу Шатилову и разоблачил затем в печати банду контрреволюционеров-разбойников.

В 1926 году я, приехав в Москву, сразу позвонил Кольцову в «Правду». Он пригласил меня к себе, в свою маленькую квартиру на углу Дмитровки и Столешникова переулка. Кабинет был завален гранками, рукописями, версткой «Огонька». На столе стояла пишущая машинка — Кольцов заканчивал фельетон, которого дожидался курьер из «Правды». Когда фельетон был отправлен и мы уселись пить чай, я увидел перед собой прежнего Кольцова — подвижного, остроумного, который мог с самым серьезным видом говорить совершенно удивительные вещи. Опять пошел разговор о множестве дел, которые он затевал: о новых журналах, о загородной даче «Огонька» для литераторов, об агитэскадрилье и большом самолете, который будет летать из города в город, выпуская собственную газету.

Все это впоследствии осуществилось. Журналы «Наши достижения», «За рубежом», «Чудак» вышли в свет, загородная дача была создана, огромный «Максим Горький» летал из города в город.

Очень любил Кольцова Горький. Алексей Максимович видел в нем великолепного организатора, первого помощника во всех своих начинаниях. И Кольцов, конечно, высоко ценил доверие Горького.

Кольцов отличался редким трудолюбием. Его рабо-

чий день начинался рано утром и кончался поздней ночью. Ни часа не пропадало даром. Он делал все спокойно, без лишней торопливости, но и без промедления. Кольцов был требователен к другим и в то же время находил для каждого доброе слово, умел вовремя пошутить.

В 1926 году «Огонек», который редактировал Кольцов, был еще скромным журнальчиком, печатавшимся на плохой бумаге, со скверными иллюстрациями. Это был, если можно так выразиться, чумазый прадед нынешнего роскошного «Огонька».

Редакция «Огонька» помещалась в трех комнатах на Тверском бульваре. Неизменный помощник Кольцова — скромный трудолюбивый писатель Ефим Зозуля — проводил там целые дни...

В редакции «Огонька» царила хорошая атмосфера. Каждого посетителя принимали вежливо, как желанного гостя. Рукописи и заметки не мариновали месяцами, на письма отвечали аккуратно, с читателями советовались и беседовали на специальных конференциях.

Михаил Кольцов был не только блестящим публицистом, но и отличным редактором. Именно ему обязаны многие из нынешних литераторов своей известностью. Кольцов любил редакторскую работу, любил читать рукописи, любил запах типографской краски, любил копаться в гранках и верстке. Он прекрасно знал полиграфическую технику. Едва ли кто-нибудь лучше его мог сверстать номер газеты или журнала. И он очень любил бумагу, всякую бумагу, от хорошей писчей до газетной. Он ездил в Карелию и на Балахну, где строились наши первые бумажные комбинаты.

Всякая излишняя трата бумаги — на ненужную отчетность и циркуляр, на пустую канцелярскую переписку — глубоко возмущала его. Пожалуй, на тему о бумаге, о производстве ее и экономном расходовании он писал больше всего фельетонов.

Помню, в 1919 году в Гомеле, после отступления из Киева, Михаил Ефимович, рассказывая о том, как пропал его чемодан, вдруг замолк, махнул рукой и прибавил:

— Да что чемодан. Черт с ним! Бумага пропала! Начхоз армейской газеты оказался подлецом — остался в Киеве и бумагу украл, несколько тонн! Вот несчастье!

После 1926 года я часто встречался с Кольцовым. Талант его в те годы был в полном расцвете. Его фельетоны, написанные острым, образным языком, пользовались огромным успехом.

Кольцов был фельетонистом-«правдистом». «Правда» его воспитала. Он начал в ней работать рядовым сотрудником, а закончил одним из ее руководителей.

Участие в гражданской войне в Испании принесло Кольцову европейскую известность. Кто мог подозревать, что в этом тихом, скромном человеке таится такое железное упорство, такая удивительная храбрость. Десятки раз он пролетал на старых, изношенных самолетах над фашистской территорией, сидел в окопах и под ураганным артиллерийским и минометным огнем, и тогда, когда гитлеровские самолеты на бреющем полете поливали пулеметными очередями последних оставшихся в живых бойцов революционной Испании.

Англия, Франция, США под предлогом «невмешательства» предоставили полную возможность Гитлеру и Муссолини посылать оружие и солдат испанским

фашистам. Захватывая отдельные города, войска генерала Франко истребляли поголовно все население рабочих кварталов. «Нельзя медлить ни одного дня, ни одного часа,— писал Михаил Кольцов,— надо спасти десятки тысяч честных человеческих жизней от чудовищного истребления».

Для того чтобы раскрыть этот заговор равнодушного молчания вокруг ужасов, творившихся в Испании, Кольцову поручили организовать Международный конгресс писателей в Валенсии. Не так легко было это сделать. Правительства капиталистических стран старались не давать виз писателям на выезд. Чиновники говорили:

— Куда вы едете? На верную смерть! Да и к чему? Еще месяц-два и никакой республиканской Испании не будет.

И все-таки по зову Кольцова из всех стран приехали в Валенсию писатели самых разнообразных политических взглядов — католики и умеренные республиканцы, анархисты и марксисты, христианские демократы и беспартийные.

После нескольких заседаний в Валенсии, когда фашистская авиация прилагала все усилия для того, чтобы члены конгресса вместо гостиниц проводили ночи в бомбоубежищах, писатели переехали в полуразрушенный, истекающий кровью Мадрид. И здесь, под непрекращающийся грохот бомбардировки, трескотню пулеметов и вой «юнкерсов», Кольцов выступил и сказал:

— Направляясь на этот конгресс, я спрашивал себя, что же это, в сущности, такое: съезд донкихотов, литературный молебен о ниспослании победы над фашизмом

или еще один интернациональный батальон добровольцев в очках? Что и кому могут дать этот съезд и дискуссии людей, вооруженных только своим словом? Что они могут дать здесь, где металл и огонь стали аргументами, а смерть — основным доказательством в споре?

Чтобы помочь этому народу,— продолжал Кольцов,— вовсе не обязательно драться на фронте или даже приезжать в Испанию. Можно участвовать в борьбе, находясь в любом уголке земного шара. Фронт растянулся очень далеко. Он выходит из окопов Мадрида, он проходит через всю Европу, через весь мир. Он пересекает страны, деревни и города, он проходит через шумные митинговые залы, он тихо извивается по полкам книжных магазинов. Главная особенность этого невиданного боевого фронта в борьбе человечества за мир и культуру — в том, что нигде вы не найдете теперь зоны, в которой мог бы укрыться кто-нибудь, жаждущий тишины, спокойствия и нейтральности...

«Испанский дневник» Михаила Кольцова войдет в историю литературы не только как летопись героической борьбы испанского народа. Это и свидетельство того, на какие дела способен советский человек, когда он служит делу революции, делу помощи народу, борющемуся за свое освобождение.



МЫ — ПОКОЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО РУБЕЖА...

Это было вскоре после Октябрьских дней в Москве.

26 октября москвичи — те москвичи, которые в четыре часа дня гуляли по Кузнецкому мосту, днем обедали в «Эрмитаже Оливье», а вечером после «Кружка» ужинали у «Яра»,— проснулись и узнали, что газет нет. Не было «Русского слова», «Русских ведомостей», «Раннего утра», «Утра России», которые подавались вместе с филипповскими булками к утреннему завтраку.

Неожиданно началась стрельба. Юнкера, офицеры и студенты стреляли в рабочих и солдат запасных полков, а те в свою очередь обстреливали их из орудий. Но это были не просто юнкера, офицеры, студенты, рабочие и солдаты. Москвичи, вся жизнь которых протекала между службой и клубом, или «Литературно-художественным кружком», «Эрмитажем» и «Яром», вдруг с изумлением узнавали, что Юрий Саблин — жизнерадостный прапорщик, сын известного издателя

Саблина и племянник не менее известного театрального антрепренера Корша, примкнул к красным и был ранен у Никитских ворот, в то время как по другую сторону баррикады, на стороне белых, сражался его бывший друг, тоже офицер, Д., который погиб в этом бою.

И такой москвич, до этого времени всю свою жизнь стрелявший только из бутылок шампанского пробками в потолок, хватался за голову, принимал порошки от головной боли и, опустив все шторы на окнах, молча усаживался в кабинете в кресло, на котором прибиты были деревянные рукавицы, а спинка изображала дугу с бубенцами и надписью: «Тише едешь — дальше будешь».

Девять дней шли бои, ухали орудия, трещали пулеметы, носились грузовики с людьми, обвешанными оружием. Москвичи прятались в домах, горничные и кухарки бегали из одного черного подъезда в другой и страшным шепотом передавали чудовищные небылицы. Так называемые «дамы из общества», лежа в постелях, страдали мигренями и нюхали соль.

Потом все стихло. На улицах появились рабочие в кепках и черных пальто, с винтовками на плече, висевшими дулом вниз, и офицеры и юнкера, хотя и капитулировавшие и разоруженные, но еще не потерявшие бравого вида.

В Петровском театре миниатюр А. Вертинский пел:

Я не знаю, зачем и кому это нужно —
Кто послал их на смерть недрожащей рукой...

В полутемном нетопленном цирке знаменитый фельетонист и редактор «Русского слова» Влас Доро-

шевич в пальто и шляпе читал лекции о французской революции. Огромное здание было набито до отказа. Лампа на трибуне освещала мрачное лицо и зловеще блестевшее пенсне. Дорошевич описывал, как 10 термидора толпа волокла Робеспьера с простреленной челюстью, истерзанного и освистанного, на казнь. Юнкера и усачи в офицерских шинелях аплодировали и кричали: «Браво!»

Одно за другим, потихоньку и как-то боязливо стали открываться заведения: магазины, рестораны, чайные, кафе. Все хорошие вещи стали исчезать. В каком-нибудь магазине «Те вэра америкэн шо» на Кузнецком мосту, который ломился от обуви, выставлены были одни колодки и сапожная мазь и даже негр, обычно стоявший у входа в пышной униформе, теперь — в кепке и поношенном костюме — казался землисто-серым и постаревшим. Только в одном кафе на Тверской по-прежнему кипела жизнь. Все столики были заняты. Очаровательные польки-официантки с голубыми глазами и русыми волосами, в кружевных наколках и передниках разносили блюда. Пахло крепким кофе, сдобными булочками, душистым английским табаком и хорошими французскими духами.

Были в Москве два знаменитых цирковых музыкальных клоуна — Бим и Бом — Радунский и Станевский. Один из них, именно Бом, и основал кафе, которое так и называлось кафе «Бом». Посещалось оно писателями, профессорами, адвокатами и крупными актерами. Вокруг этого сонмища московских звезд вихрем крутились мелкие звездочки — поклонники и поклонницы. На каждом столике под стеклом лежали писательские автографы, на стенах, обитых кожей, ви-

сели портреты «знаменитостей», посещавших кафе. Сам Станевский — Бом, высокий, красивый, полный, выхоленный мужчина, с чисто польской учтивостью встречал посетителей.

В те времена я только что поступил в университет, начал писать и печататься. Всякий, кто переживал свою литературную весну, знает это ни с чем не сравнимое чувство, когда в твоих руках находится журнал, где напечатан твой первый рассказ, а в кармане хрустят бумажки — гонорар, только что выданный кассиром. Солнце тогда сияет необыкновенно ярко, почти все женщины выглядят хорошенькими, а будущее кажется безоблачным.

Именно в таком настроении я столкнулся в редакции «Журнала для всех» с писателем Алексеем Михайловичем Пазухиным.

Пазухин был высокий, представительный старик в сюртуке, белом жилете, с тростью, украшенной золотым набалдашником, и в пенсне на толстом шнурке, немного криво сидевшем на большом красном носу. Он писал длинные сентиментальные романы из жизни купечества, печатавшиеся с бесконечными продолжениями в «Московском листке» и разных провинциальных изданиях. (Был вдов, имел двух бледных и хромоногих девиц — дочерей, жил в огромной, пыльной полупустой и со странным запахом квартире.)

Перед Пазухиным стоял человек вдвое меньше его ростом, с сумасшедшими глазами и вздыбленными седыми волосами — редактор «Журнала для всех» С. С. Семенов-Волжский, по убеждениям социал-демократ, и, тыкая пальцем в толстую рукопись, кричал:

— И что вы их идеализируете, этих живодеров —

замоскворецких акул, у вас что ни купец — то пуп земли...

Пазухин с достоинством поправил слезающее с носа пенсне, выдержал необходимую паузу и, глядя сверху вниз на маленького Семенова, процедил:

— Какой же вы, собственно говоря, социал-демократ, если не понимаете прогрессивной роли буржуазии...

— Так ведь то западная буржуазия, она создавала культурные ценности, а ваши охотнорядцы только в трактирах лакеев горчицей мажут и зеркала бьют...

Пазухин дернул головой, как человек, потерявший терпение:

— Мне за этот роман Пастухов[1] пятнадцать тысяч дает.

— Ну и пускай дает, только имейте в виду: власть захватили большевики, и никакого «Московского листка» не будет.

Это замечание и довело Пазухина до крайнего возбуждения.

Он сделал шаг вперед, выхватил у Семенова рукопись, покраснел, потом побледнел и, уставившись указательным пальцем в редактора «Журнала для всех», произнес:

— Именно большевиков не будет, а «Московский листок» останется...— Потом сделал торжественный, как на сцене в придворных пьесах, поворот и, стуча тростью, удалился.

Семенов задумчиво почесал в голове и с очевидным раскаянием в голосе сказал:

— Не хватила бы старика кондрашка, стар он,

---

[1] Издатель «Московского листка».

стар — ни черта не понимает... Вы бы проводили его немного... Сделайте это для меня...

Я догнал Пазухина уже на улице. Некоторое время мы шли молча. Потом он остановился и сказал дрожащим голосом:

— Страшные времена наступают... Последние. Дело не в убеждениях. Дело в праве писать о том, о чем хочется, что знаешь. Я знаю купцов, я о них пишу, вы будете медиком, изучите больных, будете вращаться среди врачей — пишите о врачах. Ведь вот Горький — самый левый писатель-большевик, а что написал. Вы читали его рассказ «Барышня и дурак» в «Солнце России»?

Я ответил, что не читал.

— Гуляет проститутка по улице ночью, ищет покупателя... Натыкается на нее этакий интеллигентный господин. Ей хочется скорее отработать и уйти домой. На улице слякоть, сырость, у нее калоши текут, руки озябли, а он к ней пристает с разговорами. Приходят в гостиницу, он платит за номер, она торопится сделать свое дело и уйти, а он опять с разговорами о жизни, о том о сем... Наконец он ей сует десятку, барышня хочет раздеться, а он берет шляпу, пальто и уходит. Ну скажите, какая тут идея, а написано...— он остановился, поправил пенсне, причмокнул языком,— замечательно...

Я чуть задержался.

— А представьте себе, даже в вашем пересказе идея есть...

Мы дошли до кафе «Бом». Старик кивнул головой:

— Зайдем...

Все столики были заняты. Только в углу перед красным диваном, где за круглым столом сидел хорошо

одетый полный мужчина лет тридцати с лишним, в очках, с несколько брезгливым выражением на бритом лице, были свободные кресла.

— Пойдем туда, к графу Толстому,— сказал Пазухин,— там есть места...

Я, конечно, читал рассказы Толстого, видел его пьесы, но не был знаком с ним. Пазухин представил меня. Мы сели.

Толстой ел молча. Я много видел на своем веку людей, умевших поесть и выпить, я знал таких, которые превратили гастрономию в науку, а процесс поглощения пищи в священнодействие. Но я никогда не видел никого, кто ел бы с таким вкусом и так заражал окружающих переживаемым удовольствием. Он держал котлету де-воляй за ножку, завернутую в кружевную бумажку, и обкусывал ее ровными, белыми зубами, заедая зеленым горошком и запивая глотками белого вина (которое после Февральской революции снова стали подавать на столы), посматривал на нас с таким видом, точно хотел сказать: «Не мешайте мне — я ем...»

Наконец он кончил есть, вытер губы салфеткой, потом вынул трубку, постучал ею по столу, набил душистым английским табаком. Подошла официантка.

— Чашку черного кофе и рюмку кюрассо, только, пожалуйста, настоящего...

Он закурил, повернулся ко мне:

— Читал я ваш рассказ... Вы на каком факультете будете учиться?

Я ответил, что на медицинском...

— Гм, Горький мне рассказывал, что Лев Толстой, который очень любил Чехова, считал, что медицинское образование ему мешает писать. И отчего это все докто-

ра идут в литературу? Вересаев, Елпатьевский, Голоушев...— Он пожал плечами.

Пазухин с озлоблением рассказал ему о своем столкновении с Семеновым.

Толстой слушал внимательно, потом задумался, моргая большими серыми глазами, наконец наклонился через стол всем своим большим телом:

— Семенов прав, никакого «Московского листка» не будет, ваших купцов тоже не будет...— Оглянулся кругом.— И этого кафе тоже не будет. Большевики задумали грандиозное дело: перестроить всю жизнь сверху донизу по-новому. Удастся ли им это? Не знаю... Но массы — за ними. Наши генералы, конечно, тоже сразу не сдадутся. Ведь это только принято считать, что немецкие генералы — гении, а наши — олухи. Ничего подобного. Наши генералы, конечно, в политике ничего не понимают, их от занятия политикой поколениями отучали, ну и в жизни они дураки, но дело свое знают, и будь у нас порядка побольше, не начни гнить империя с головы, не так бы у нас шла война с немцами. Ну, так вот... Генералы, конечно, соберутся: как, мужепесы взбунтовались, свою власть хотят установить, а вот мы им покажем!.. Солдаты за ними не пойдут. Но им они пока и не нужны — они из офицеров и юнкеров создадут стотысячную армию. И какая это будет армия!.. Первоклассная... Римские легионы нашего времени.

Он помолчал, потом поднял руку с трубкой:

— Но армия эта повиснет в воздухе... ее никто не поддержит — рабочие и крестьяне не пойдут с ними, они поддержат большевиков. Триста лет висело у них ярмо на шее, теперь они его скинули, и никто, понимаете,

никто им его больше не наденет... Да...— Он покачал головой, потом повернулся к Пазухину:— Купцы ваши, разумеется, закричат: караул, грабят! Побегут к банкирам в Европу и в Америку: спасите и наши и ваши деньги от большевиков... И те помогут генералам. И начнется кровопролитнейшая гражданская война. Страна наша большая, ярости накопилось много, сейчас оружие есть у каждого...

Пазухин уже давно слушал его с открытым ртом и вытаращенными глазами. С соседних столиков все повернулись в нашу сторону.

Наконец Пазухин дрожащим голосом спросил:

— Что же делать? Кто прав?

Толстой поправил очки, задумался.

— Не знаю. С точки зрения высших идей — справедливости, социального равенства и так далее — правы большевики. Но все дело в том, как эти идеи будут осуществляться. Что касается меня — я уезжаю за границу. Я не годен для такой борьбы. Мое дело — писать. А для того, чтобы писать, нужно время.— Он помолчал и прибавил:— Время... Чтобы осознать и понять...

Хорошенькая официантка, уже давно стоявшая с подносом, наконец решилась подать счет.

Толстой посмотрел на нее пристально и задумчиво сказал:

— Так вот-с, Алексей Михайлович, а вы что намерены делать?

Старик вздохнул:

— Буду делать то же, что и делал: ходить в кафе, пока его не закроют, писать, пока будут печатать, а потом, вероятно, помру...

Толстой задумался, потом повернулся ко мне:

— Ну, а вы, собственно, вот вы самый молодой, только что с гимназической скамьи...

— Я уезжаю...

— Куда?

— Я вступил добровольцем в Красную Армию — еду на Южный фронт.

— Вы что же, большевик, в партии?

— Пока еще нет...

— Из рабочей семьи?

— Нет, можно сказать, наследственный интеллигент...

Толстой пожал плечами:

— Не понимаю...

Я покраснел. Я не привык говорить со взрослыми на равных основаниях. Восьмилетняя муштра в суровой гимназии иногда сказывалась совершенно неожиданно...

— Видите ли... мне кажется, что это единственная возможность собрать раздробленную сейчас Россию в единое целое и установить в ней справедливый порядок. Я верю в честность большевиков, в Ленина.

Толстой раза два затянулся, выпустил дым:

— Может быть, вы и правы. Иногда устами младенцев глаголит истина...

Мы вышли на улицу. Шел мягкий снежок... Матовые дуговые фонари бледным светом покрывали прохожих, стены домов, мостовую, извозчиков, проезжавших по Тверской. На углу мы распрощались, и каждый пошел своим путем...

Кончилась гражданская война, и Советское правительство, сумевшее объединить растерзанное на клочки

тело бывшей России, с величайшей энергией стало восстанавливать экономику страны, совершенно разрушенную мировой войной и интервенцией. Великий созидательный трудовой порыв охватил весь народ. В те времена огромное значение приобретало приобщение к этому процессу, интеллигенции. Та ее часть, которая была в эмиграции, разделилась на два лагеря. Наиболее воинствующие и озлобленные были против возвращения на родину и за продолжение борьбы с большевиками. Другие, находившиеся тогда еще в меньшинстве, стояли за возвращение на родину и хотели активно участвовать в восстановлении страны.

И вдруг среди этого шума спорящих голосов подобно грому прозвучало знаменитое открытое письмо Алексея Толстого. Он писал, что, хотя сам по своему происхождению, по своим привычкам и взглядам менее всего может считаться «красным», но не видит другого способа для русских людей служить родине, как объединиться вокруг Советского правительства. «Россию спасет и увеличит ее могущество, Ленин и его партия»,— писал он в те далекие годы.

В 1931 или 1932 году (точно не помню) я по делам службы должен был поехать в Ленинград, и А. В. Луначарский дал мне поручение к Толстому. Кстати, я должен был участвовать и в совещании Ленинградского общества драматургов и выступать там от имени Главреперткома Наркомпроса и Президиума Всероскомдрама.

На другой день после прибытия в Ленинград я поехал в бывшее Царское Село, где жил А. Н. Толстой. Он поселился там в особняке, кажется, бывшей графини Берг и все свои гонорары вложил в его устройство, в

приобретение мебели и картин. Вместе со своим приятелем, художникам-реставратором Эрмитажа Степаном Петровичем Яремичем, Толстой обходил все задворки Гостиного двора и комиссионные магазины, где тогда навалом были сложены в кучу подлинники итальянцев и плохие копии, замечательные гарнитуры Буля, павловских и александровских мастеров-краснодеревщиков и всякого рода пышная мебель в стиле «модерн». Толстой был великий знаток мебели, хороших картин, непревзойденный дегустатор старого вина и тонкий ценитель всевозможных сортов табака. Он мог по запаху отличить голландский табак с острова Ява от любого сорта «Кэпстена», черную манилу от гаваны, сигару «Анри Клей» Бока. Обо всем этом он говорил с таким веселым добродушием и тонким знанием, что самый пессимистический, желчный человек, страдающий несварением желудка и потерявший всякий вкус к жизни, начинал чувствовать запах табака, аромат ямайского рома.

Толстой и Наталья Крандиевская встретили меня очень радушно.

— Не знаю, чем тебя угощать,— озабоченно моргая серыми глазами под стеклами круглых очков, говорил Алексей Николаевич.— Есть щи, ну, отварное мясо... Водка в штофе, настоенная на свежем черносмородинном листе.

Он задумался:

— Погоди, есть еще квашеная капуста — под водку подойдет, ее знаешь надо брать так — горстью в рот, щепотью!

Говорили мы о разном, но очень скоро я почувствовал, что он одинок. Еще не было настоящего призна-

ния здесь, в России, и не прекращалась травля за границей.

— Вот мое положение,— сказал он, когда мы поднялись к нему на второй этаж, в его кабинет,— белые меня ругают, что ни напиши: «Алешка — лживые твои уста», и больше никаких. Рапповцы не могут простить «Заговора императрицы» и «Черного золота». Они считают, что «Черное золото» — авантюрный роман. А это подлинная история. Спроси профессора Александрова, он сейчас директор МХАТа второго,— он тебе подтвердит, он был тогда в Щвеции. Но рапповцы меня не собьют с толку. Многое у них правильно, но есть и глупости. Они твердят о «дворянском искусстве». Но Пушкин был дворянин — и что же: я не должен любить Пушкина? Смешно не понимать значения передовой части дворянства в истории русской культуры. Тогда нужно отказаться и от Радищева. Вот я сейчас кончил первую часть романа о Петре. Только что получил авторские экземпляры. Над Петром я работаю давно, ты, наверное, читал: «День Петра», «Марту Рабэ», «На дыбе». За пьесу о Петре меня рапповцы особенно клевали. И в общем правильно. По-настоящему я понял роль Петра только сейчас. Да, впрочем, ты увидишь сам.

Он подошел к книжному шкафу, вынул из него экземпляр «Петра», сделал на нем надпись и вручил мне. Потом прошелся по кабинету. Остановился перед машинкой. Из нее торчал недописанный лист.

— Вот начал с Павлом Сухотиным роман —«Записки Мосолова»,— это о Сибири, Колчаке, интервенции! Ведь вот какая штука. Белые везде были белыми: и на Дону и на Севере, и у Деникина и у Юденича. Но у Колчака особенно ясно выражался их наемнический хара-

ктер. Ты понимаешь: они перестали быть русскими. Они уже стали наемниками у иностранцев, у американцев и японцев в первую очередь, потеряли свой национальный характер. И это мне хотелось бы выразить. Победи они, конечно, никакой «неделимой единой России» не было бы, а получилась бы весьма разделимая между англо-американцами и японцами колония, и больше ничего.

Мы еще говорили о многом, пока не опустел штоф. Тут Алексей Николаевич взял его в руки и показал на свет.

— Смотри, стекло какое — гатчинское, а вензель «Е II» — Екатерина Вторая. На, возьми на память.

И он начал мне совать штоф в руки. Сколько я ни убеждал его, что у меня в восемь часов открывается совещание и штоф таскать неудобно, он со свойственной ему живостью, несмотря на тучность, сбежал вниз и сунул его в карман моего кожаного пальто. Мы пошли гулять по Царскому Селу. Была поздняя осень. Особняки, дачи и дворцы, окруженные парками и садами, стояли, как бы окрашенные в желтые и красные цвета. Мы ходили по аллеям, уже покрытым прелыми листьями. Дул холодный ветер. Красноватый отблеск заката играл на окнах...

Алексей Николаевич поежился:

— А в общем все-таки хочется в Москву... Там творится история...

Алексей Николаевич довольно часто наезжал в Москву вместе с женой Натальей Крандиевской. Обычно он останавливался у Н. М. Радина в его большой квар-

тире на Малой Дмитровке и иногда заглядывал к нам на Тверскую-Ямскую.

Отличительной особенностью Толстого, помимо редкой жизнерадостности, была способность юмористически относиться ко всем житейским неприятностям, и маленьким и большим. Он как бы проходил мимо них. И поэтому за обеденным столом всегда царило веселое и приподнятое настроение.

Я помню, как он с добродушным юмором рассказывал о только что происшедшей с ним неприятности: «Понимаете, купил я Тусе (Крандиевской Н. Р.) в подарок чудную меховую накидку. Едем мы из Детского в Ленинград. Стоим на площадке вагона. Ну, вертятся вокруг нас бабы с узлами, мальчишки какие-то беспризорные. Вдруг один сдернул с Туси накидку и на всем ходу спрыгнул с поезда на насыпь. Я перегнулся, кричу: «Ах ты сукин сын!», а он остановился и машет мне накидкой — знаете, как провожают уезжающих платочком...— И, откинувшись в кресле, Толстой засмеялся от всей души.

Как-то в 1933 году Толстой пришел к обеду с Н. М. Радиным и Е. М. Шатровой. Зашел разговор о его пьесе «Касатка».

— А ведь благодаря ей я стал профессиональным актером,— вдруг сказал Толстой.— Дело вот как было.— Он провел ладонями по лицу, будто умываясь.— Давно уже, сижу я в Риге. Денег ни копейки. Вдруг приходит ко мне в номер какой-то антрепренер. Знаете такой — пробор сбоку, ботинки лаковые, цепочка через весь жилет, кольцо с фальшивым бриллиантом. «Вот, говорит, Алексей Николаевич, хорошо было бы в здешнем русском театре поставить «Касатку».— «Ну что же, гово-

рю, ставьте».—«Да ведь она может и не сделать сборов. Как раз через несколько дней гастроли Шаляпина...»— «Раз вы не уверены в успехе — тогда не ставьте...»— «А я вот что придумал: попробуйте сами сыграть роль Желтухина. Представьте себе — через всю афишу красными буквами: «В роли Желтухина автор пьесы — граф Алексей Николаевич Толстой». Вот тогда уже действительно публика валом повалит...» А я когда-то играл в любительских спектаклях комические роли. Черт с ним, думаю, сыграю...— Толстой затянулся трубкой, выпустил дым...— И что же вы думаете — сыграл не хуже рижских актеров. Сборы полные. Антрепренеришка этот ко мне привязался: «Алексей Николаевич, что вы делаете: вы свой талант губите! Писательское дело за границей неверное, тем более у вас позиция просоветская. Поступайте ко мне в труппу — я вас первым любовником сделаю...»

Толстой повернулся к Крандиевской всем своим грузным корпусом:

— Представляешь себе, Туся, я — первый любовник! Ха!

— А знаете что, Алексей Николаевич, не поставить ли нам действительно «Касатку» при участии актеров, впервые ее игравших, и при вашем участии. Дело в том, что московские писательские организации имеют подшефную МТС. Надо им во многом помочь, а денег нет. Вот весь сбор и пойдет на эти цели. Николай Мариусович сейчас нам скажет, сможет ли он поставить этот спектакль.

Радин с большой охотой взялся за это дело. Но Толстой задумался:

— Ведь это значит бросить работу, приехать в Мо-

скву на неделю, а с репетициями, может быть, и больше... С другой стороны, дело нужное. Ведь что такое деревня без тракторов, сколько там ни агитируй, она такой же и останется.— Потом ударил ладонью по столу:— Ну хорошо, приеду!

Вот два письма Н. М. Радина А. Н. Толстому в связи с этим делом.

«А. Н. Толстому. 19 апреля 1933 г., Москва.

Дорогой Алеша, опять я нарушаю эпистолярный этикет. Прости: дела заставляют писать первым!

Дня через два после твоего отъезда был у меня секретарь Горкома писателей А. Вьюрков. Я сговорился с ним о спектакле «Касатка» в общих чертах и на следующий день послал ему администратора. Но Вьюрков тянул дело, и оно не двигалось. Вероятно, и совсем закисло бы, если бы за него по просьбе Равича не взялся Михаил Петрович Гальперин. Сейчас он у меня был во второй раз. Экспериментальный театр прозевали — все дни заняты,— и они перекинулись в Мюзик-холл. Это не хуже, а, может быть, в некоторых отношениях и лучше. Завтра он фиксирует день и спросит у Литовского разрешения на исполнение пьесы, хотя она и находится в списке разрешенных, как сказал Равич. Они хотят два утренних спектакля 6-го мая и 12-го мая, но я посоветовал им 12-е снимать условно и утвердиться во втором спектакле, если продажа на первый будет благоприятна. Все окончательно решится послезавтра к вечеру, и тогда я пошлю тебе телеграмму. Ты мне на нее сейчас же ответь, подтвердив свое согласие играть 6-го и, значит, приехать для репетиций не позже 3-го. О 12-м мы будем говорить уже на месте. Мы

22-го, вероятно, уедем в Харьков на два концерта. Условия нами подписаны, но все-таки я говорю «вероятно», т. е. если не получу своевременно авансовых денег, то не поеду наобум. В случае нашего отъезда в Харьков (поезд уходит 7.30 вечера) мне нужно иметь твою депешу о согласии днем 22-го — не поскупись на молнию. В сущности, все дело решено и сорваться может только или по твоей инициативе, или из-за неудачи с помещением, что мало вероятно. Ты не переноси спектакля на 12-е, минуя 6-е, так близко стоящее,— мы все успеем сделать, а 6-е ближе к получке жалованья публикой, чем 12-е. Я исполнителей еще не приглашал, т. к. ничего определенного в руках не имел. Сделаю это по возвращении из Харькова или раньше, если не поеду. Возьму возможно сильных актеров. Думаю: Блюменталь-Тамарину, Белевцеву, Ольховского (Илья), т. к. Нароков стыдится играть молодого, Массалитинову и т. д. Спектакль будет стоить за все про все тысяч 6-ть. Ты в эту сумму не включен— да тебе, по-моему, и зазорно брать актерский гонорар со своей братвы писателей. Правда? Рекламу сделаем хорошую, а в интересе к этому спектаклю я уверен. Полный сбор — тысяч 14 — можно считать обеспеченным. Ну, вот и все про «Касатку». Жду твоего ответа.

У нас все в порядке. Работаем.

Твой Николай».

«А. Н. Толстому (конец апреля) 1933 г., Москва.

Дорогой Алеша, дело с «Касаткой», по-видимому, налаживается. Сегодня подписывается договор с Мюзик-холлом на утра 12-го и 18-го, текст афиши сдан адми-

нистратору и исполнители приглашены: Мария Михайловна, Белевцева, Массалитинова, Болдуман из МХАТа на Илью, Ржанов на Панкрата и т. д. Ты можешь приехать даже 9-го, если считаешь достаточным три репетиции. Сцены без тебя я постараюсь подготовить до твоего приезда. Конечно, лучше, если заявишься 8-го. Непременно привези с собой пьесу и выучи хорошо текст, потому что в Мюзик-холле такое устройство сцены, что на суфлера особенно рассчитывать не приходится. Дорога реклама, актеры заламывают, так что спектакль будет стоить тысяч 8-мь при расценке на 15 тысяч. Все уверены в большом интересе, почему и намечается повторение, но афиша выйдет на один спектакль. Организация в руках Равича и отчасти Гальперина.

В Харьков мы съездили благополучно, но устали здорово. А так вообще у нас все по-старому.

Твой Ник. Радин.

Телеграфируй о приезде».

Мы договорились с директором Мюзик-холла и сняли это большое помещение для двух утренников, которые состоялись 12 и 18 мая 1933 года. Чтобы спектакли в смысле декораций, костюмов, рекламы и т. д. были подготовлены хорошо, пришлось довольно много повозиться, и тут главную роль сыграл не только М. П. Гальперин, но и нынешний директор Всесоюзного бюро пропаганды художественной литературы — Д. Е. Ляшкевич.

А. Толстой приехал дня за три до спектакля и усердно репетировал роль Желтухина. В спектакле играли —

Н. М. Радин, М. М. Блюменталь-Тамарина, Н. А. Белевцева, Е. М. Шатрова, В. О. Массалитинова, А. Н. Незнамов, В. А. Цыганков, А. Е. Ржанов и др. Играть с этими блестящими мастерами сцены любителю было, конечно, очень трудно. Но публика пришла смотреть своего любимого писателя на сцене, не ожидая от него, разумеется, никаких актерских способностей. И зрители были удивлены его игрой. Если в ней не было подлинного мастерства, то все, что он делал на сцене — как он ходил, двигался, говорил,— дышало такой жизнерадостностью, непосредственностью и искренним юмором — каким-то душевным здоровьем, что нельзя было ему не аплодировать.

Когда ему предложили оплатить хотя бы дорожные расходы, он поморщился и сказал:

— Ну, знаете ли, предлагать деньги, когда человек хочет сделать полезное для общества дело, просто неприлично...

Толстой был писателем, так сказать, по рождению, по природе своей. Что бы он ни делал, ни говорил, о чем бы ни думал — его восприятие окружающего мира работало беспрерывно, как бы фиксируя навсегда все, с чем он сталкивался. Он мог идти по аллее сада, рассказывая какую-нибудь смешную историю, и вдруг остановиться, глядя на птицу, сидящую на ветке: «Смотрите-ка, головка набок, хвост зеленый, круглый глаз похож на кусочек стекла!» Или оглянуться на проходившую женщину: «Платье новое, чулки французские, а туфли старые, правый каблук стоптан,— значит, спешила, надела первые попавшиеся. Бежит на свидание...»

Никакие личные переживания не приостанавливали

этой бессознательной работы. Толстой был дружен с покойным историком П. Е. Щеголевым, очень любил его. Однажды он обедал у Щеголева. Обед затянулся. После обеда хозяин вышел. Прошло 10—15 минут — Щеголев не возвращался. Мгновенная смерть от кровоизлияния в мозг настигла его в самый неожиданный момент. Только что сидел за столом умный, талантливый, большой человек, крупный ученый, близкий друг — и вот его уже нет. Толстой долго переживал эту утрату. И все-таки несколько лет спустя, рассказывая мне о Щеголеве, он нарисовал всю картину его смерти с такими мельчайшими подробностями, такой объективной точностью, какие не встречаются даже в самых образцовых историях болезни институтских клиник. Никакое душевное волнение не могло приостановить у него подсознательного восприятия окружающего. Полученные впечатления со всей точностью сохранялись в его мозгу, с тем чтобы когда-нибудь найти свое отражение в художественной форме.

«Петр Первый» был переломным моментом в творчестве Алексея Толстого. В этом романе выявился во всей своей глубине его талант, в нем он первый из русских писателей сделал попытку прочитать историю России конца семнадцатого и начала восемнадцатого веков с точки зрения марксистской исторической науки. Личность Петра привлекала внимание таких гениальных художников, как Пушкин и Лев Толстой.

«Я еще не мог доселе постичь и объять вдруг умом этого исполина: он слишком огромен для нас близоруких, и мы стоим еще к нему близко,— надо отодвинуться на два века,— не постигаю его чувством; чем более его изучаю, тем более изумление и подобострастие ли-

шают меня средств мыслить и судить свободно»,— передает В. И. Даль слова Пушкина. Хотя у Пушкина тема Петра нашла отражение и в «Полтаве», и в «Медном всаднике», и в «Арапе Петра Великого», он так и не решился создать произведение, посвященное всей Петровской эпохе в целом. Он глубоко понимал сложность и противоречивость этой эпохи.

«Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами, первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или по крайней мере для будущего, вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика»,— писал он.

Лев Толстой, написав несколько глав романа из эпохи Петра, отказался от этой темы.

Исторический роман о Петре I Д. Мережковского чрезвычайно слабое, мистико-религиозное произведение.

Конечно, и «Петр Первый» Алексея Толстого не лишен крупных недостатков. На нем сказались и упрощенческая трактовка Петра как «купеческого царя», и значительная недооценка «Петровых птенцов» и таких деятелей, как Софья, Голицын. Совершенно исчезли пионеры русской науки — Леонтий Магницкий, первый доктор медицины П. В. Постников, Андрей Нартов и многие другие. И тем не менее русская художественная литература не имела до этого времени такой исторической хроники о Петровской эпохе, какую создал Алексей Толстой, хотя ему и не удалось ее закончить. С точки зрения мастерства, какой-то удивительной

прозрачности и тонкости красок в описании, богатстве языка, именно третья незаконченная книга являлась кульминационной частью этой хроники.

В ноябре 1935 года мы договорились с Алексеем Николаевичем поехать в Гагру. 8 ноября, на второй день праздника, я стоял на площадке международного вагона, ожидая Толстого. До отхода поезда оставалось минут пять, когда на перроне я увидел целое шествие. Впереди под руку с Алексеем Николаевичем шла молодая женщина, за ними несколько человек сопровождающих и носильщики с чемоданами. В вагоне Толстой познакомил меня с Людмилой Толстой, с которой ему суждено было прожить остальную часть своей жизни.

В Гагре каждый день мы отправлялись по утрам принимать теплые морские ванны. Достаточно было со стороны посмотреть на этого полного, выхоленного мужчину — как он садился в ванну, покряхтывая от удовольствия, как растирался мохнатыми простынями, чтобы и самому почувствовать радость жизни. Даже старики санитары, которым надоело обслуживать курортников, улыбались, глядя на него, и с удовольствием услуживали Алексею Николаевичу.

— Ну-с,— говорил Алексей Николаевич, выходя наружу и всей грудью вдыхая свежий морской воздух,— а теперь к Курбану — пить чай с малиновым вареньем.

Курбан был содержатель чайханы, где подавали в маленьких стаканчиках душистый чай, причем в стаканчике было два слоя жидкости — внизу крепкий чай, а наверху прозрачная вода. Но достаточно было вам

сделать глоток этой душистой обжигающей влаги, и все окрашивалось в одинаковый цвет. Малиновое варенье с лепестками из роз тоже приготовлялось по особому рецепту. И вот здесь в беседке, зеленой от листьев дикого винограда, когда в прозрачном воздухе смешивались звуки отдаленного морского прибоя с неугомонным щебетанием суетливых птиц, откинувшись на спинку плетеного кресла и закрыв глаза, Толстой любил говорить о писательском мастерстве.

— Вначале все пишут легко. Потом писать становится все труднее и труднее, потому что требования к себе становятся все больше. Видишь то, чего раньше не видел. И ищешь эту вечно убегающую от тебя тайну мастерства. Мне кто-то рассказывал, как пришел он к Льву Толстому. Сидит страшный старик кудесник и читает вслух своего «Хаджи-Мурата». Прочел кусок, задумался, закрыл глаза, заплакал и сказал: «Ах, хорошо написал старик!» Потом взял красный карандаш и вычеркнул весь абзац: «А все-таки это лишнее».

Алексей Николаевич замолчал, набил трубку, затянулся, понюхал дым.

— Мне кажется, я понял тайну построения художественной фразы: ее форма обусловлена внутренним состоянием рассказчика, повествователя, за которым следует движение, жест и, наконец, глагол, речь, выбор слов и расстановка их адекватно жесту... Во время работы я произношу фразы вслух. Фраза, сказанная вслух, всегда будет идти от жеста. Я как бы перевоплощаюсь в своих персонажей, стараюсь говорить их голосом и одновременно слушаю сторонним ухом.

Толстой посмотрел на меня, будто проверял впечатление от этих слов, и прибавил:

— Все большие мастера писали вслух. Флобер орал так, что на другой стороне реки было слышно. Бальзак дрался с воображаемыми персонажами. Когда однажды пришли к нему в гости, они услышали на пороге двери страшный шум и решили, что в квартире кого-то убивают. А там никого не было, просто Бальзак рассердился на одного из своих персонажей...

Алексей Николаевич глотнул чаю, взял ложечкой варенье, понюхал, покачал головой:

— Хорошо Курбан делает варенье.

Повернулся ко мне:

— И потом, не пишите от руки! Я никогда не мог набросать от руки больше трех-четырех страниц — тянуло посмотреть на машинописный текст. Тогда видны все ошибки...

Два дня спустя я случайно обнаружил, что потерял автоматическую ручку.

Толстой остановился пораженный:

— Неужели потерял? И хорошая была ручка, какой марки?

— Ватермана...

— Хорошая! Вот это беда! Никто не понимает, что такое для писателя орудия его производства: самопишущие перья, хорошая бумага, удобная, портативная машинка, большой письменный стол, тихий, изящно убранный кабинет... Каждый мастер любит свои инструменты, каждый дурак знает, что на заводе рабочее место, отличный станок — это залог успеха. А вот снабдить писателя всем, что ему необходимо для рабо-

ты,— об этом никто не думает. У Литфонда есть все, что угодно,— книжные магазины, санатории, пошивочные ателье... А нужно устроить магазин, где писатель мог бы получить все, что ему необходимо для работы, начиная от письменных принадлежностей и бумаги и кончая продуманной мебелью для рабочего кабинета.— Он остановился и уже сердито закончил:— А я утверждаю, что на дрянной бумаге, карандашом нельзя написать хорошее произведение...

Иногда мы ходили на гору, поднимались туда, где был бассейн и откуда начинался водопровод, построенный принцем Ольденбургским. Меня поражало, с какой легкостью Толстой, несмотря на свою полноту, ходил по горным тропинкам. Вообще все, что он делал, он делал легко. И писал он легко, несмотря на огромную требовательность к себе. Правда, он заранее намечал план главы и даже набрасывал на бумаге отдельные этапы развития сюжета. Но дальше все рождалось за машинкой. Родившись, герои романа уже обрастали мясом, живой тканью, типичными чертами и начинали действовать сами по себе. Автор шел за ними незримый, записывая все, что они делали, о чем они думали, что они чувствовали. Конечно, для этого нужно было знать и видеть все, о чем пишешь. И все, что попадало в поле зрения художника, запечатлевалось навсегда в мельчайших деталях в тайниках его памяти, чтобы однажды снова быть извлеченным в нужный момент.

Толстой обладал особой внешностью. Дело не в том, что он был представителен и имел барские манеры. Таких людей можно встретить множество. Дело и не в его аристократическом происхождении. Были аристо-

краты и более родовитые. Он как бы всегда носил на себе печать своего таланта. Конечно, когда вышел «Петр Первый» и Толстого избрали депутатом Верховного Совета, он получил всенародное признание как писатель. Но сам он от этого нисколько не изменился: по-прежнему был неразрывно связан с жизнью, со всем, что в ней происходило, с гущей народа, с простыми людьми, психологию которых превосходно понимал.

В июле 1937 года Толстой поехал на Международный конгресс писателей в Валенсию. Он был одним из немногих писателей с мировым именем, которые отлично понимали в те годы, что линия борьбы с фашизмом проходит не только в окопах Испании, а тянется через все города мира.

Конгресс открылся в торжественной обстановке. В эту ночь Валенсия подверглась страшной бомбардировке. Михаил Кольцов, глава помещавшейся в «Метрополе» советской делегации, оделся, водрузил на нос свои очки в черной оправе, велел разбудить всех и характерной для него, спокойной, переваливающейся походкой пошел вперед. Все сотряслось. Рядом с курносым, порывистым Всеволодом Вишневским торжественно шествовал в подвал Алексей Толстой в шелковой малиновой пижаме, напоминая боярина, идущего в алом кафтане из бани.

— Интересно,— сказал Всеволод Вишневский,— какого веса бомбы?

— Наплевать, какого веса,— отвечал Толстой.

Он был недоволен, что его разбудили из-за таких пустяков, как воздушная бомбардировка.

На другой день Толстой выступил и сказал примерно следующее:

— Никогда человечество не променяет свободный труд на трудовые лагеря фашизма. Мамонты и носороги и пещерные медведи были, казалось, куда как могучи. В пиренейских пещерах гений человека оставил бессмертное изображение побежденного им мира чудовищ. Разве это одно не дает повода для великого оптимизма? Говорят, что большое искусство не совпадает с революционными эпохами. Искусство, отражающее горечь разочарования, искусство мечтательности, не находящей себе приюта в этой жизни, негативное искусство до сих пор как будто совпадало с временем социального и политического затишья... Но то было. Это дела минувшие. Сокровища искусства и гуманистическая мысль — наше наследство... Мы — поколение великого рубежа, когда старый мир перед тем, как рухнуть навсегда, огрызается, как матерый волк, на четыре стороны.

...Советское искусство реалистично, как земля под ярким солнцем, это искусство реалистично, как та суровая женщина, идущая по борозде, героично, как боец, отдающий жизнь за счастье Родины, оптимистично, как молодость. Это искусство всенародно потому, что оно создается творческими импульсами народных масс.

Отечественная война дала нам Толстого-публициста, который умел зажигать сердца солдат своим великим ощущением Родины.

Умирал он тоже не так, как все. Лежал в Кремлев-

ской больнице и писал последнюю, самую лучшую, часть «Петра». Когда выяснилось, что у него рак легкого, врачи разрешили ему есть все, что он захочет. Он со знанием дела составил меню, позавтракал, выпил бокал шампанского и потом сказал пришедшей к нему жене:

— Ну, теперь пущу-ка я Саньку на бал к Людовику Четырнадцатому. Вот она ему там и покажет, что такое русская красота...

К вечеру он умер...

СОДЕРЖАНИЕ

Равич Николай Александрович

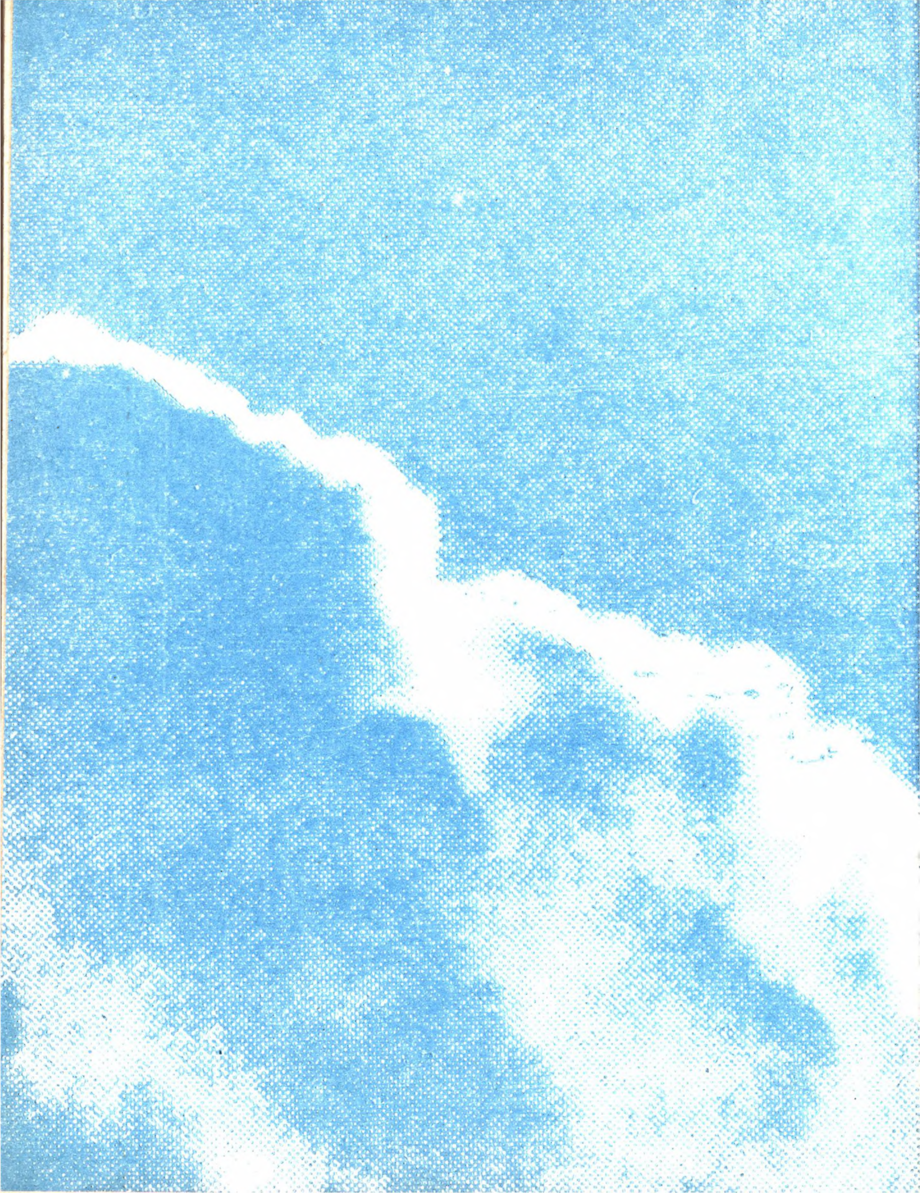
ВЕЧНЫЙ СВЕТ

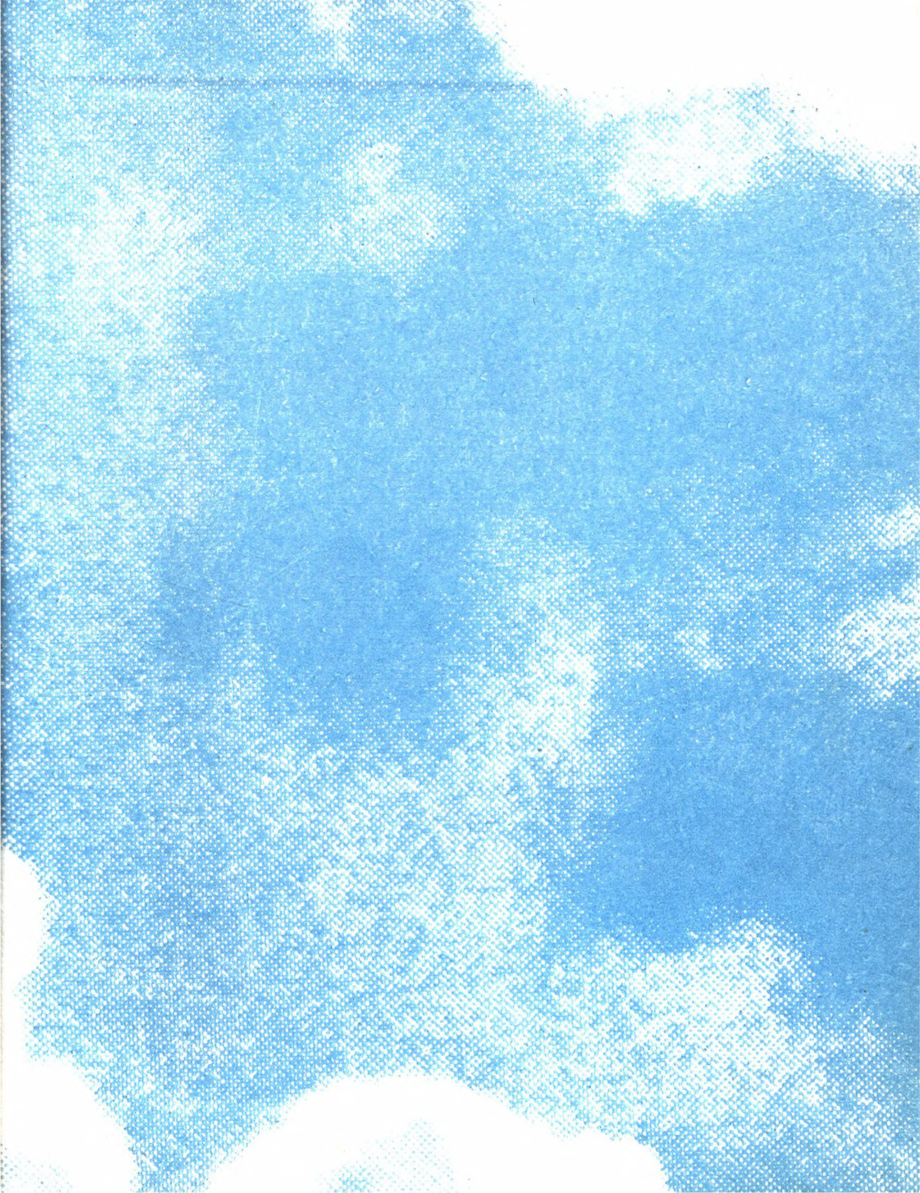
М., «Советский писатель», 1971, 272 стр.
План выпуска 1971 г. № 47

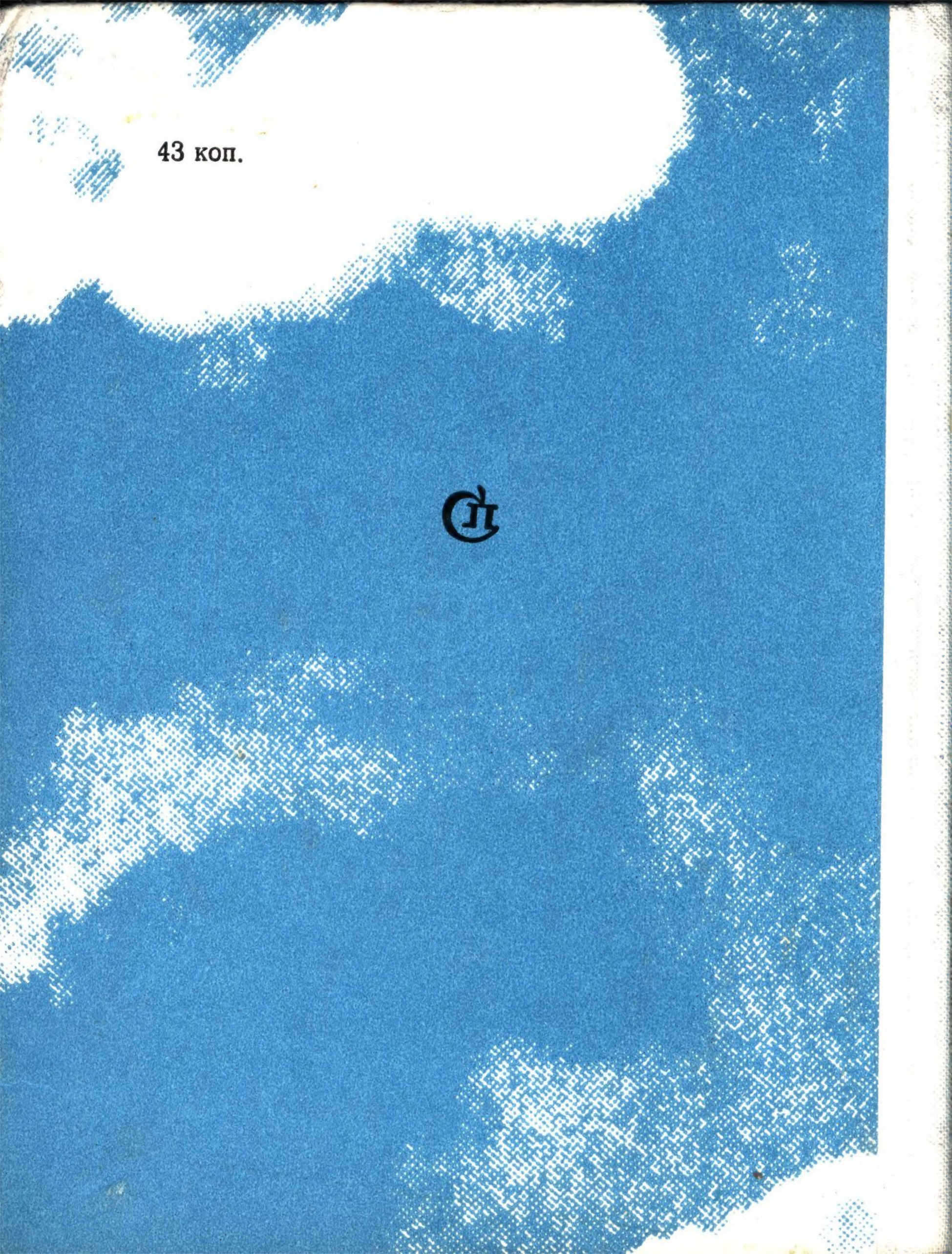
Художник Л. С. Мороз
Редактор О. Г. Маркова
Худож. редактор Е. И. Балашева
Техн. редактор И. М. Минская
Корректор С. Б. Блауштейн

Сдано в набор 4. III. 1971 г. Подписано к печати 8. VI 1971 г. А 05788. Бумага $70\times108^1/_{32}$ № I. Печ. л. $8^1/_2$ (11,90) Уч. изд. л. 10,53. Тираж 30 000 экз. Заказ № 105. Цена 43 коп. Издательство «Советский писатель». Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10. Тульская типография Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109


15






43 коп.


Николай Равич
ВЕЧНЫЙ СВЕТ